



ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

ТОЛСТОЙ

ПОСЛЕ БАЛА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Эксклюзив: Русская классика

Лев Толстой

После бала (сборник)

«АСТ»

2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1я44

Толстой Л. Н.

После бала (сборник) / Л. Н. Толстой — «АСТ»,
2018 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-096388-1

В этот сборник вошли «военные» произведения, написанные Толстым в разные годы, – потрясающий по силе, бессмертный цикл «Севастопольские рассказы», воспевающий мужество русского народа во время Крымской войны, драматичные, увлекательные повести времен «покорения Кавказа» «Хаджи-Мурат» и «Кавказский пленник» и социально-психологические рассказы «Два гусара» и «После бала», в которых автор создает убедительные, глубокие и зачастую весьма неожиданные образы российских офицеров.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1я44

ISBN 978-5-17-096388-1

© Толстой Л. Н., 2018
© АСТ, 2018

Содержание

Севастопольские рассказы	5
Севастополь в декабре месяце	5
Севастополь в мае	14
1	14
2	14
3	16
4	18
5	20
6	23
7	24
8	25
9	26
10	28
11	29
12	31
13	32
14	34
15	34
16	36
Севастополь в августе 1855 года	39
1	39
2	40
3	41
4	42
5	43
6	44
7	46
8	47
9	48
10	50
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Лев Николаевич Толстой

После бала

Сборник

Севастопольские рассказы

Севастополь в декабре месяце

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горой; темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет – все черно, но утренний резкий мороз хватается за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая склянка.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится Богу; где высокая тяжелая *маджара* на верблюдах со скрипом протащила на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена... Вы подходите к пристани – особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов – дрова, мясо, туры, мука, железо и т. п. – кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом – солдатами, моряками, купцами, женщинами, – причаливают и отчаливают от пристани.

– На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте, – предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди – старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырьки, поднимаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...

– Ваше благородие! прямо под Кистентина¹ держите, – скажет вам старик матрос, оборотясь назад, чтобы поверить направление, которое вы дадите лодке, – вправо руля.

¹ Корабль «Константин». (Примеч. Л. Н. Толстого.).

– А на нем пушки-то еще все, – заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

– А то как же: он новый, на нем Корнилов жил, – заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

– Вишь ты, где разорвало! – скажет мальчик после долгого молчания, взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

– Это *он* с новой батареи нынче палит, – прибавит старик, равнодушно поплеывая на руку. – Ну, навались, Мишка, баркас перегоним. – И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то кули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристаёт между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережных шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат: *сбитень горячий*, и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядра, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные кбзлы; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронте, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки, – везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но взгляните ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурашского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было – поить лошадей или таскать орудия, – так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками ожидающих на крыльце бывшего Соборного, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает чрез улицу.

Да! вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости, – ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида и звуков с Северной стороны. Но прежде чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским собранием и на крыльце которого стоят солдаты с носилками, – вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.

Вы входите в большую залу Соборного. Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге

залы, – это дурное чувство, – идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто пришли *смотреть* на страдалцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними: несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите посредине постелей и ищите лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

– Ты куда ранен? – спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенесет их.

– В ногу, – отвечает солдат; но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена. – Слава богу теперь, – прибавляет он, – на выписку хочу.

– А давно ты уже ранен?

– Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие!

– Что же, болит у тебя теперь?

– Нет, теперь не болит, ничего; только как будто в икре ноет, когда непогода, а то ничего.

– Как же ты это был ранен?

– На пятом баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, таким манером, к другой амбразуре, как *он* ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.

– Неужели больно не было в эту первую минуту?

– Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу.

– Ну, а потом?

– И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, *не думать много*: как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье и повязанная черным платком; она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки, с тем чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему двадцать пять рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион, с тем чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря все это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом.

– Это хозяйка моя, ваше благородие! – замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит: «Уж вы ее извините. Известно, бабье дело – глупые слова говорит».

Вы начинаете понимать защитников Севастополя; вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову, – и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

– Ну, дай Бог тебе поскорее поправиться, – говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела силь-

нее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.

– Что, он без памяти? – спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас.

– Нет, еще слышит, да уж очень плох, – прибавляет она шепотом. – Я его нынче чаем поила – что ж, хоть и чужой, все надо жалость иметь, – так уж не пил почти.

– Как ты себя чувствуешь? – спрашиваете вы его.

Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.

– У сердце гхорить.

Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет: она вылушена в плече. Он сидит бодро, он поправился; но по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни.

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячий румянец.

– Это нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой, – скажет вам ваша путеводительница, – она мужу на бастион обедать носила.

– Что ж, отрезали?

– Выше колена отрезали.

Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, – увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти...

Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдете на бастионы...

«Что значат смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями?» Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим.

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки – весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте.

Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутреннюю жизнь часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров. Купцы, женщины в шляпках и платочках,

щеголеватые офицеры – все говорит вам о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей.

Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров: там уж, верно, идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело двадцать четвертого, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.

– Черт возьми, как нынче у нас плохо! – говорит басом белобрысенький безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе.

– Где у нас? – спрашивает его другой.

– На четвертом бастионе, – отвечает молоденький офицер, и вы непременно с бóльшим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «на четвертом бастионе». Его слишком большая развязность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бретерским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности; но все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на четвертом бастионе от бомб и пуль: ничуть не бывало! плохо оттого, что грязно. «Пройти на батарею нельзя», – скажет он, показывая на сапоги, выше икор покрытые грязью. «А у меня нынче лучшего комендора убили, прямо в лоб влепило», – скажет другой. «Кого это? Митюхина?» – «Нет... Да что, дадут ли мне телятины? Вот каналы! – прибавит он к трактирному слуге. – Не Митюхина, а Абросимова. Молодец такой – в шести вылазках был».

На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «бордо», сидят два пехотных офицера: один, молодой, с красным воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому, старому, с черным воротником и без звездочек, про альминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России: вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «Я иду на четвертый бастион», – непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: «Тебя бы поставить на четвертый бастион»; когда встречают носилки и спрашивают: «Откуда?» – большей частью отвечают: «С четвертого бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто войдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т. д.

В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться: туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце; какая-то печальная изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели...

Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытанными всякое горе и нужду ветеранами и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров; изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и

спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин-камней, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион... Здесь народу встречается еще меньше, женщин совсем не видно, солдаты идут скоро, по дороге попадают капли крови, и непременно встретите тут четырех солдат с носилками и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: «Куда ранен?» – носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут: в ногу или в руку, ежели он ранен легко; или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы и он уже умер или тяжело ранен.

Недалекий свист ядра или бомбы, в то самое время как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймете, и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении; собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору, по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас, – вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались в гору, справа и слева вас начинают жужжать штуцерные пули, и вы, может быть, призадумаетесь, не идти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой; но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более, что вы видите, *все идут по дороге*.

Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое грязное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребями, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагроможденным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов, где посередине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик, с ружьем переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи. Но везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и все это затопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль – жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна, – слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

«Так вот он, четвертый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» – думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не четвертый бастион. Это Язоновский редут – место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя еще шагов триста, вы снова выходите на батарею – на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который, заметив в вас нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и все, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папиросу из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно, без малейшей аффек-

тации говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам, – но только, ежели вы его расспросите, – про бомбардирование пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать, и из всей прислуги осталось восемь человек, и как все-таки на другое утро, шестого, он *палил*² из всех орудий; расскажет вам, как пятого попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам из амбразур батареи и траншеи неприятельские, которые не дальше здесь как в тридцати – сорока саженях. Одного я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразур, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и есть неприятель – *он*, как говорят солдаты и матросы.

Даже очень может быть, что морской офицер, из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. «Послать комендора и прислугу к пушке», – и человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обу-тых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского, – простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства.

Вдруг ужаснейший, потрясающий не одни ушные органы, но все существо ваше, гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед за тем вы слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас, платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, может быть, – это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого. «В самую *амбразуру* попало; кажись, убило двух... вон понесли», – услышите вы радостные восклицания. «А вот он рассерчает: сейчас пустит сюда», – скажет кто-нибудь; и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым; часовой, стоящий на бруствере, крикнет: «Пу-у-шка!» И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вокруг себя брызги грязи и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: «Пушка!» – и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит: «Маркела!»³ – и вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым с трудом соединяется мысль об ужасном, посвистывание бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите черный шар, удар о землю, осязательный, звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придет в голову, что снаряд этот убьет вас; но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд пролетел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо приятное чувство, но только на мгновение, овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности, в этой игре жизнью и смертью; вам хочется, чтобы еще и еще

² Моряки все говорят палить, а не стрелять. (Примеч. Л. Н. Толстого.).

³ *Мортира*. (Прим. Л. Н. Толстого.).

поближе упали около вас ядро или бомба. Но вот еще часовой прокричал своим громким, густым голосом: «Маркела!», еще посвистыванье, удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражает стон человека. Вы подходите к раненому, который, в крови и грязи, имеет какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с носилками. У матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его видны один испуг и какое-то притворное преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то время как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой, невысказанной мысли: глаза горят ярче, зубы сжимаются, голова с усилием поднимается выше; и в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!» – еще хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только еще раз: «Простите, братцы!» В это время товарищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно, размахивая руками, возвращается к своему оружию. «Это вот каждый день этак человек семь или восемь», – говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свертывая папиросу из желтой бумаги...

...

Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра, – идете с спокойным, возвысившимся духом. Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, – это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа, – и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так малонапряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они всё могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди непрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, – любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю, – о временах, когда этот герой, достойный древней Греции, – Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя», – и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: «Умрем! ура!» – только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...

Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.

Севастополь. 1855 года, 25 апреля

Севастополь в мае

1

Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов, в траншеи и с траншей на бастионы и ангел смерти не переставал парить над ними.

Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи – успокоиться в объятиях смерти. Сколько звездочек надето, сколько снято, сколько Анн, Владимиров, сколько розовых гробов и полотняных покровов! А все те же звуки раздаются с бастионов, все так же – с невольным трепетом и суеверным страхом – смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на желтоватую изрытую землю бастионов Севастополя, на черные движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки; все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по Зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях, и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей, с еще более разнородными желаниями, к этому роковому месту.

А вопрос, не решенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью.

Мне часто приходила странная мысль: что ежели бы одна воюющая сторона предложила другой – выслать из каждой армии по одному солдату? Желание могло бы показаться странным, но отчего не исполнить его? Потом выслать другого, с каждой стороны, потом третьего, четвертого и т. д., до тех пор, пока осталось бы по одному солдату в каждой армии (предполагая, что армии равносильны и что количество было бы заменяемо качеством). И тогда, ежели уже действительно сложные политические вопросы между разумными представителями разумных созданий должны решаться дракой, пускай бы подрались эти два солдата – один бы осаждал город, другой бы защищал его.

Это рассуждение кажется только парадоксом, но оно верно. Действительно, какая бы была разница между одним русским, воюющим против одного представителя союзников, и между восьмьюдесятью тысячами воюющих против восьмидесяти тысяч? Отчего не сто тридцать пять тысяч против ста тридцати пяти тысяч? Отчего не двадцать тысяч против двадцати тысяч? Отчего не двадцать против двадцати? Отчего не один против одного? Никак одно не логичнее другого. Последнее, напротив, гораздо логичнее, потому что человечнее. Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать.

2

В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам. Светлое весеннее солнце взошло с утра над английскими работами, перешло на бастионы, потом на город – на Николаевскую казарму и, одинаково радостно светя для всех, теперь спускалось к далекому синему морю, которое мерно колыхаясь, светило серебряным блеском.

Высокий, немного сутуловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков, настроенных на левой стороне Морской улицы, и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору

к бульвару. Выражение некрасивого с низким лбом лица этого офицера изобличало тупость умственных способностей, но притом рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен – длинноног, неловок и как будто стыдлив в движениях. На нем была незатасканная фуражка, тонкая, немного странного лилового цвета шинель, из-под борта которой виднелась золотая цепочка часов; панталоны со штрипками и чистые, блестящие, хотя и с немного стоптанными в разные стороны каблуками, опойковые сапоги, – но не столько по этим вещам, которые не встречаются обыкновенно у пехотного офицера, сколько по общему выражению его персоны, опытный военный глаз сразу отличал в нем не совсем обыкновенного пехотного офицера, а немного повыше. Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чисто русское происхождение, или адъютант, или квартирмейстер полковой (но тогда бы у него были шпоры), или офицер, на время кампании перешедший из кавалерии, а может, и из гвардии. Он действительно был перешедший из кавалерии и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного, помещика Т. губернии, и жены его, бледной голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы. Он вспомнил одно место письма, в котором товарищ пишет:

«Когда приносят нам „Инвалид“, то *Пунка* (так отставной улан называл жену свою) бросается опрометью в переднюю, хватает газеты и бежит с ними на *эс* в *беседку*, в *гостиную* (в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе), и с таким жаром читает *ваши* геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит: „Вот Михайлов, – говорит она, – так это *душка человек*, я готова расцеловать его, когда увижу, – он *сражается на бастионах* и непременно получит Георгиевский крест, и про него в газетах напишут“, и т. д., и т. д., так что я решительно начинаю ревновать к тебе». В другом месте он пишет: «До нас газеты доходят ужасно поздно, а хотя изустных новостей и много, не всем можно верить. Например, знакомые тебе *барышни с музыкой* рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими казаками и отослан в Петербург, но ты понимаешь, как много я этому верю. Рассказывал же нам один приезжий из Петербурга (он у министра, по особым порученьям, премилый человек, и теперь, как в городе никого нет, такая для нас *рисурс*, что ты себе представить не можешь) – так он говорит наверно, что наши заняли Евпаторию, *так что французам нет уже сообщения с Балаклавой*, и что у нас при этом убито двести человек, а у французов до пятнадцати тысяч. Жена была в таком восторге по этому случаю, что *кутила* целую ночь, и говорит, что ты, наверное, по ее предчувствию, был в этом деле и отличился...»

Несмотря на те слова и выражения, которые я нарочно отметил курсивом, и на весь тон письма, по которым высокомерный читатель, верно, составил себе истинное и невыгодное понятие в отношении порядочности о самом штабс-капитане Михайлове, на стоптанных сапогах, о товарище его, который пишет *рисурс* и имеет такие странные понятия о географии, о бледном друге на *эсе* (может быть, даже и не без основания вообразив себе эту Наташу с грязными ногтями), и вообще о всем этом праздном грязненьком провинциальном презренном для него круге, штабс-капитан Михайлов с невыразимо грустным наслаждением вспомнил о своем губернском бледном друге и как он сживал, бывало, с ним по вечерам в беседке и говорил о *чувстве*, вспомнил о добром товарище-улане, как он сердился и ремизился, когда они, бывало, в кабинете составляли пульку по копейке, как жена смеялась над ним, – вспомнил о дружбе к себе этих людей (может быть, ему казалось, что было что-то больше со стороны бледного друга): все эти лица с своей обстановкой мелькнули в его воображении в удивительно-сладком, отраднорозовом цвете, и он, улыбаясь своим воспоминаниям, дотронулся рукою до кармана,

в котором лежало это *милое* для него письмо. Эти воспоминания имели тем большую прелесть для штабс-капитана Михайлова, что тот круг, в котором ему теперь привелось жить в пехотном полку, был гораздо ниже того, в котором он вращался прежде, как кавалерист и дамский кавалер, везде хорошо принятый в городе Т.

Его прежний круг был до такой степени выше теперешнего, что когда в минуты откровенности ему случалось рассказывать пехотным товарищам, как у него были свои дрожки, как он танцевал на балах у губернатора и играл в карты с штатским генералом, его слушали равнодушно-недоверчиво, как будто не желая только противоречить и доказывать противное – «пускай говорит», мол, и что ежели он не выказывал явного презрения к кутежу товарищей – водкой, к игре по четверти копейки на старые карты, и вообще к грубости их отношений, то это надо отнести к особенной кротости, уживчивости и рассудительности его характера.

От воспоминаний штабс-капитан Михайлов невольно перешел к мечтам и надеждам. «Каково будет удивление и радость Наташи, – думал он, шагая на своих стоптанных сапогах по узенькому переулочку, – когда она вдруг прочтет в „Инвалиде“ описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да и еще, верно, много перебыют нашего брата в эту кампанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк... подполковник... Анну на шею... полковник...» – и он был уже генералом, устаивающим посещения Наташу, вдову товарища, который, по его мечтам, умрет к этому времени, когда звуки бульварной музыки яснее долетели до его слуха, толпы народа кинулись ему в глаза, и он очутился на бульваре прежним пехотным штабс-капитаном, ничего не значащим, неловким и робким.

3

Он подошел сначала к павильону, подле которого стояли музыканты, которым вместо попитров другие солдаты того же полка, раскрывши, держали ноты и около которых, больше смотря, чем слушая, составили кружок писаря, юнкера, няньки с детьми и офицеры в *старых* шинелях. Кругом павильона стояли, сидели и ходили большею частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях. По большой аллее бульвара ходили всяких сортов офицеры и всяких сортов женщины, изредка в шляпках, большей частью в платочках (были и без платочков и без шляпок), но ни одной не было старой, а замечательно, что все молодые. Внизу по тенистым пахучим аллеям белых акаций ходили и сидели уединенные группы.

Никто особенно рад не был, встретив на бульваре штабс-капитана Михайлова, исключая, может быть, его полка капитанов Обжогова и Сусликова, которые с горячностью пожали ему руку, но первый был в верблюжьих штанах, без перчаток, в обтрепанной шинели и с таким красным, вспотевшим лицом, а второй кричал так громко и развязно, что совестно было ходить с ними, особенно перед офицерами в белых перчатках, из которых с одним – с адъютантом – штабс-капитан Михайлов кланялся, а с другим – штаб-офицером – мог бы кланяться, потому что два раза встречал его у общего знакомого. Притом же, что веселого ему было гулять с этими господами Обжоговым и Сусликовым, когда он и без того по шести раз на день встречал их и пожимал им руки. Не для этого же он пришел *на музыку*.

Ему бы хотелось подойти к адъютанту, с которым он кланялся, и поговорить с этими господами совсем не для того, чтобы капитаны Обжогов и Сусликов, и поручик Паштецкий, и другие видели, что он говорит с ними, но просто для того, что они приятные люди, притом знают все новости – порассказали бы...

Но отчего же штабс-капитан Михайлов боится и не решается подойти к ним? «Что, ежели они вдруг мне не поклонятся, – думает он, – или поклонятся и будут продолжать говорить между собою, как будто меня нет, или вовсе уйдут от меня, и я там останусь один между *ари-*

стократами?» Слово *аристократы* (в смысле высшего отборного круга, в каком бы то ни было сословии) получило у нас в России, где бы, кажется, вовсе не должно было быть его, с некоторого времени большую популярность и проникло во все края и во все слои общества, куда проникло только тщеславие (а в какие условия времени и обстоятельств не проникает эта гнусная страстишка?), – между купцами, между чиновниками, писарями, офицерами, в Саратове, в Мамадыши, в Винницы, везде, где есть люди. А так как в осажденном городе Севастополе людей много, следовательно, и тщеславия много, то есть и *аристократы*, несмотря на то, что ежеминутно висит смерть над головой каждого *аристократа* и *неаристократа*.

Для капитана Обжогова штабс-капитан Михайлов *аристократ*, потому что у него чистая шинель и перчатки, и он его за это терпеть не может, хотя уважает немного; для штабс-капитана Михайлова адъютант Калугин *аристократ*, потому что он адъютант и на «ты» с другим адъютантом, и за это он не совсем хорошо расположен к нему, хотя и боится его. Для адъютанта Калугина граф Нордов *аристократ*, и он его всегда ругает и презирует в душе за то, что он флигель-адъютант. Ужасное слово *аристократ*. Зачем подпоручик Зобов так принужденно смеется, хотя ничего нет смешного, проходя мимо своего товарища, который сидит с штаб-офицером? Чтобы доказать этим, что, хотя он и не *аристократ*, но все-таки ничуть не хуже их. Зачем штаб-офицер говорит таким слабым, лениво-грустным, не своим голосом? Чтобы доказать своему собеседнику, что он *аристократ* и очень милостив, разговаривая с подпоручиком. Зачем юнкер так размахивает руками и подмигивает, идя за барыней, которую он в первый раз видит и к которой он ни за что не решится подойти? Чтоб показать всем офицерам, что, несмотря на то, что он им шапку снимает, он все-таки *аристократ* и ему очень весело. Зачем артиллерийский капитан так грубо обошелся с добродушным ординарцем? Чтобы доказать всем, что он никогда не заискивает и в *аристократах* не нуждается, и т. д., и т. д., и т. д.

Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде – даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми не слышно было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в наш век есть только три рода людей: одних – принимающих начало тщеславия как факт необходимо существующий, поэтому справедливый, и свободно подчиняющихся ему; других – принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих – бессознательно, рабски действующих под его влиянием? Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть «Снобсов» и «Тщеславия»?

Штабс-капитан Михайлов два раза в нерешительности прошел мимо кружка *своих аристократов*, в третий раз сделал усилие над собой и подошел к ним. Кружок этот составляли четыре офицера: адъютант Калугин, знакомый Михайлова, адъютант князь Гальцин, бывший даже немножко *аристократом* для самого Калугина, подполковник Нефердов, один из так называемых *ста двадцати двух* светских людей, поступивших на службу из отставки под влиянием отчасти патриотизма, отчасти честолюбия и, главное, того, что *все* это делали; старый клубный московский холостяк, здесь присоединившийся к партии недовольных, ничего не делающих, ничего не понимающих и осуждающих все распоряжения начальства, и ротмистр Праскухин, тоже один из *ста двадцати двух* героев. К счастью Михайлова, Калугин был в прекрасном расположении духа (генерал только что поговорил с ним весьма доверенно, и князь Гальцин, приехав из Петербурга, остановился у него), он счел не унижительным подать руку штабс-капитану Михайлову, чего не решился, однако, сделать Праскухин, весьма часто встречавшийся на бастионе с Михайловым, неоднократно пивший его вино и водку и даже должный ему по преферансу двенадцать рублей с полтиной. Не зная еще хорошенько князя Гальцина, ему не хотелось изобличить перед ним свое знакомство с простым пехотным штабс-капитаном; он слегка поклонился ему.

– Что, капитан, – сказал Калугин, – когда опять на баксиончик? Помните, как мы с вами встретились на Шварцовском редуте, – жарко было? а?

– Да, жарко, – сказал Михайлов, с прискорбием вспоминая о том, какая у него была печальная фигура, когда он в ту ночь, согнувшись, пробираясь по траншее на бастион, встретил Калугина, который шел таким молодцом, бодро побрякивая саблей.

– Мне, по-настоящему, приходится завтра идти, но у нас болен, – продолжал Михайлов, – один офицер, так... – Он хотел рассказать, что черед был не его, но так как командир восьмой роты был нездоров, а в роте оставался прапорщик только, то он счел своей обязанностью предложить себя на место поручика Непшитшетского и потому шел нынче на бастион. Калугин не дослушал его.

– А я чувствую, что на днях что-нибудь будет, – сказал он князю Гальцину.

– А что, не будет ли нынче чего-нибудь? – робко спросил Михайлов, поглядывая то на Калугина, то на Гальцина. Никто не отвечал ему. Князь Гальцин только сморщился как-то, пустил глаза мимо его фуражки и, помолчав немного, сказал:

– Славная девочка эта в красном платочке. Вы ее не знаете, капитан?

– Это около моей квартиры дочь одного матроса, – отвечал штабс-капитан.

– Пойдемте посмотрим ее хорошенько.

И князь Гальцин взял под руку с одной стороны Калугина, с другой штабс-капитана, вперед уверенный, что это не может не доставить последнему большого удовольствия, что действительно было справедливо.

Штабс-капитан был суеверен и считал большим грехом перед делом заниматься женщинами, но в этом случае он притворился большим развратником, чему, видимо, не верили князь Гальцин и Калугин и что чрезвычайно удивляло девицу в красном платочке, которая не раз замечала, как штабс-капитан краснел, проходя мимо ее окошка. Праскухин шел сзади и все толкал за руку князя Гальцина, делая разные замечания на французском языке; но так как вчетвером нельзя было идти по дорожке, он принужден был идти один и только на втором круге взял под руку подошедшего и заговорившего с ним известного храброго морского офицера Сервягина, желавшего тоже присоединиться к кружку *аристократов*. И известный храбрец с радостью просунул свою мускулистую, честную руку за локоть, всем и самому Сервягину хорошо известному за не слишком хорошего человека, Праскухину. Но когда Праскухин, объясняя князю Гальцину свое знакомство с *этим* моряком, шепнул ему, что это был известный храбрец, князь Гальцин, бывший вчера на четвертом бастионе и видевший от себя в двадцати шагах лопнувшую бомбу, считая себя не меньшим храбрецом, чем этот господин, и предполагая, что весьма много репутаций приобретает задаром, не обратил на Сервягина никакого внимания.

Штабс-капитану Михайлову так приятно было гулять в этом обществе, что он забыл про *милое* письмо из Т., про мрачные мысли, осаждавшие его при предстоящем отправлении на бастион, и, главное, про то, что в семь часов ему надо было быть дома. Он пробыл с ними до тех пор, пока они не заговорили исключительно между собой, избегая его взглядов, давая тем знать, что он может идти, и, наконец, совсем ушли от него. Но штабс-капитан все-таки был доволен и, проходя мимо юнкера барона Песта, который был особенно горд и самонадеян со вчерашней ночи, которую он в первый раз провел в блиндаже пятого бастиона, и считал себя вследствие этого героем, он несколько не огорчился подозрительно-высокомерным выражением, с которым юнкер вытянулся и снял перед ним фуражку.

4

Но едва штабс-капитан перешагнул порог своей квартиры, как совсем другие мысли пошли ему в голову. Он увидел свою маленькую комнатку с земляным неровным полом и кри-

выми окнами, залепленными бумагой, свою старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором изображена была амазонка и висели два тульские пистолета, грязную, с ситцевым одеялом постель юнкера, который жил с ним; увидел своего Никиту, который с взбудораженными сальными волосами, почесываясь, встал с полу; увидел свою старую шинель, личные сапоги и узелок, из которого торчали конец мыльного сыра и горлышко портерной бутылки с водкой, приготовленные для него на бастион, и с чувством, похожим на ужас, он вдруг вспомнил, что ему нынче на целую ночь идти с ротой в ложементы.

«Наверное, мне быть убитым нынче, – думал штабс-капитан, – я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшитшетский? Очень может быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека, а непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то, верно, представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал, что позвольте мне идти, ежели поручик Непшитшетский болен. Ежели не выйдет майора, то уж Владимира наверно. Ведь я уж тринадцатый раз иду на бастион. Ох, тринадцать! скверное число. Непременно убьют, чувствую, что убьют; но надо же было кому-нибудь идти, нельзя с прапорщиком роте идти, а что-нибудь бы случилось, ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. Мой долг был идти... да, долг. А есть предчувствие». Штабс-капитан забывал, что это предчувствие, в более или менее сильной степени, приходило ему каждый раз, как нужно было идти на бастион, и не знал, что тоже, в более или менее сильной степени, предчувствие испытывает всякий, кто идет в дело. Немного успокоив себя этим понятием долга, которое у штабс-капитана, как и вообще у всех людей недалеких, было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу, с которым последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным делам. Через десять минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно читая все молитвы, которые знал (потому что ему совестно было перед своим человеком громко молиться Богу), стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок Митрофания, благословение покойницы матушки и в который он имел особенную веру, но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь, на улице. Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук (старый, который обыкновенно надевал штабс-капитан, идя на бастион, не был починен).

– Отчего не починен сюртук? Тебе только бы все спать, этакой! – сердито сказал Михайлов.

– Чего спать? – проворчал Никита. – День-деньской бегаешь, как собака: умаешься небось, – а тут не засни еще.

– Ты опять пьян, я вижу.

– Не на ваши деньги напился, что попрекаете.

– Молчи, скотина! – крикнул штабс-капитан, готовый ударить человека, еще прежде расстроенный, а теперь окончательно выведенный из терпения и огорченный грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже и с которым жил уже двенадцать лет.

– Скотина! скотина! – повторял слуга. – И что ругаетесь скотиной, сударь? Ведь теперь время какое? нехорошо ругать.

Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало.

– Ведь ты хоть кого выведешь из терпенья, Никита, – сказал он кротким голосом. – Письмо это к батюшке, на столе оставь так и не трогай, – прибавил он, краснея.

– Слушаю-с, – сказал Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которое он выпил, как говорил «на свои деньги», и с видимым желанием заплакать, хлопая глазами.

Когда же на крыльце штабс-капитан сказал: «Прощай, Никита!» – то Никита вдруг разразился принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина. «Прощайте, барин!» – всхлипывая, говорил он.

Старуха матроска, стоявшая на крыльце, как женщина, не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене, начала утирать глаза грязным рукавом и приговаривать что-то о том, что уж на что господа, и те какие муки принимают, и что она, бедный человек, вдовой осталась, и рассказала в сотый раз пьяному Никите о своем горе: как ее мужа убили еще в первую *бандировку* и как ее домишко весь разбили (тот, в котором она жила, принадлежал не ей), и т. д., и т. д. По уходе барина Никита закурил трубку, попросил хозяйскую девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать, а напротив, побранился с старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила.

«А может быть, только ранят, – рассуждал сам с собою штабс-капитан, уже сумерками подходя с ротой к бастиону. – Но куда? как? сюда или сюда? – думал он, мысленно указывая на живот и на грудь. – Вот ежели бы сюда, – он думал о верхней части ноги, – да кругом бы обошла. Ну, а как сюда да осколком – кончено!»

Штабс-капитан, однако, сгибаясь, по траншеям благополучно дошел до ложементов, поставил с саперным офицером, уже в совершенной темноте, людей на работы и сел в ямочку под бруствером. Стрельба была малая; только изредка вспыхивали то у нас, то у *него* молнии, и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе. Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел штабс-капитан, так что он успокоился отчасти, выпил водки, закусил мыльным сыром, закурил папиросу и, помолвившись Богу, хотел заснуть немного.

5

Князь Гальцин, подполковник Нефердов, юнкер барон Пест, который встретил их на бульваре, и Праскухин, которого никто не звал, с которым никто не говорил, но который не отставал от них, все с бульвара пошли пить чай к Калугину.

– Ну так ты мне не досказал про Ваську Менделя, – говорил Калугин, сняв шинель, сидя около окна на мягком, покойном кресле и расстегивая воротник чистой крахмальной голландской рубашки, – как же он женился?

– Умора, братец! Je vous dis, il y avait un temps où on ne parlait que de ça à P [etersbourg] ⁴, – сказал, смеясь, князь Гальцин, вскакивая от фортепьян, у которых он сидел, и садясь на окно подле Калугина, – просто умора. Уж я все это знаю подробно. – И он весело, умно и бойко стал рассказывать какую-то любовную историю, которую мы пропустим потому, что она для нас не интересна.

Но замечательно то, что не только князь Гальцин, но и все эти господа, расположившись здесь кто на окне, кто задравши ноги, кто за фортепьянами, казались совсем другими людьми, чем на бульваре: не было этой смешной надутости, высокомерности, которые они выказывали пехотным офицерам; здесь они были между своими в натуре, и особенно Калугин и князь Гальцин, очень милыми, веселыми и добрыми ребятами. Разговор шел о петербургских сослуживцах и знакомых.

– Что Масловский?

– Который? лейб-улан или конногвардеец?

– Я их обоих знаю. Конногвардеец при мне мальчишка был, только что из школы вышел.

Что старший – ротмистр?

– О! уж давно.

– Что, все возится с своей цыганкой?

– Нет, бросил, – и т. д. в этом роде.

⁴ Я вам говорю, что одно время только об этом и говорили в Петербурге (*фр.*).

Потом князь Гальцин сел к фортепьянам и славно спел цыганскую песенку. Праскухин, хотя никто не просил его, стал вторить, и так хорошо, что его уж просили вторить, чему он был очень доволен.

Человек вошел с чаем со сливками и крендельками на серебряном подносе.

– Подай князю, – сказал Калугин.

– А ведь странно подумать, – сказал Гальцин, взяв стакан и отходя к окну, – что мы здесь в осажденном городе: *фортаплясы*, чай со сливками, квартира такая, что я, право, желал бы такую иметь в Петербурге.

– Да уж ежели бы еще этого не было, – сказал всем недовольный старый подполковник, – просто было бы невыносимо это постоянное ожидание чего-то... видеть, как каждый день бьют, бьют – и все нет конца, ежели при этом бы жить в грязи и не было бы удобств.

– А как же наши пехотные офицеры, – сказал Калугин, – которые живут на бастионах с солдатами, в блиндаже и едят солдатский борщ, – как им-то?

– Вот этого я не понимаю и, признаюсь, не могу верить, – сказал Гальцин, – чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, *cette belle bravoure de gentilhomme*⁵, – не может быть.

– Да они и не понимают этой храбрости, – сказал Праскухин.

– Ну что ты говоришь пустяки, – сердито перебил Калугин, – уж я видел их здесь больше тебя и всегда и везде скажу, что наши пехотные офицеры хоть, правда, во вшах и по десять дней белья не переменяют, а это герои, удивительные люди.

В это время в комнату вошел пехотный офицер.

– Я... мне приказано... я могу ли явиться к ген... к его превосходительству от генерала NN.? – спросил он, робея и кланяясь.

Калугин встал, но, не отвечая на поклон офицера, с оскорбительной учтивостью и натянутой официальной улыбкой спросил офицера, не угодно ли *им* подождать, и, не попросив его сесть и не обращая на него больше внимания, повернулся к Гальцину и заговорил по-французски, так что бедный офицер, оставшись посередине комнаты, решительно не знал, что делать с своей персоной и руками без перчаток, которые висели перед ним.

– По крайне нужному делу-с, – сказал офицер после минутного молчания.

– А! так пожалуйста, – сказал Калугин с той же оскорбительной улыбкой, надевая шинель и провожая его к двери.

– Eh bien, messieurs, je crois que cela chauffera cette nuit⁶, – сказал Калугин, выходя от генерала.

– А? что? что? вылазка? – стали спрашивать все.

– Уж не знаю – сами увидите, – отвечал Калугин с таинственной улыбкой.

– Да ты мне скажи, – сказал барон Пест, – ведь ежели есть что-нибудь, так я должен идти с Т. полком на первую вылазку.

– Ну, так и иди с богом.

– И мой принципал на бастионе, стало быть, и мне надо идти, – сказал Праскухин, надевая саблю, но никто не отвечал ему: он сам должен был знать, идти ли ему или нет.

– Ничего не будет, уж я чувствую, – сказал барон Пест, с замиранием сердца думая о предстоящем деле, но лихо набок надевая фуражку и громкими твердыми шагами выходя из комнаты вместе с Праскухиным и Нефердовым, которые тоже с тяжелым чувством страха торопились к своим местам. «Прощайте, господа». – «До свиданья, господа! еще нынче ночью увидимся», – прокричал Калугин из окошка, когда Праскухин и Пест, нагнувшись на луки казачьих седел, должно быть, воображая себя казаками, прорысили по дороге.

⁵ Этой прекрасной храбрости дворянина (*фр.*).

⁶ Ну, господа, нынче ночью, кажется, будет жарко (*фр.*).

– Да, немножко! – прокричал юнкер, который не разобрал, что ему говорили, и топот казачьих лошадок скоро стих в темной улице.

– Non, dites moi, est-ce qu'il y aura véritablement quelque chose cette nuit?⁷ – сказал Гальцин, лежа с Калугиным на окошке и глядя на бомбы, которые поднимались над бастионами.

– Тебе я могу рассказать, видишь ли, ведь ты был на бастионах? (Гальцин сделал знак согласия, хотя он был только раз на четвертом бастионе.) Так против нашего люнета была траншея, – и Калугин, как человек неспециальный, хотя и считавший свои военные суждения весьма верными, начал, немного запутанно и перевирая фортификационные выражения, рассказывать положение наших и неприятельских работ и план предполагавшегося дела.

– Однако начинают попукивать около ложементов. Ого! Это наша или *его*? вон лопнула, – говорили они, лежа на окне, глядя на огненные линии бомб, скрещивающиеся в воздухе, на молнии выстрелов, на мгновение освещавшие темно-синее небо, и белый дым пороха и прислушиваясь к звукам все усиливающейся и усиливающейся стрельбы.

– Quel charmant coup d'oeil!⁸ а? – сказал Калугин, обращая внимание своего гостя на это действительно красивое зрелище. – Знаешь, звезды не различишь от бомбы иногда.

– Да, я сейчас думал, что это звезда, а она опустилась, вот лопнула, а эта большая звезда – как ее зовут? – точно как бомба.

– Знаешь, я до того привык к этим бомбам, что, я уверен, в России в звездную ночь мне будет казаться, что это всё бомбы: так привыкнешь.

– Однако не пойти ли мне на эту вылазку? – сказал князь Гальцин после минутного молчания, содрогаясь при одной мысли быть *там* во время такой страшной канонады и с наслаждением думая о том, что его ни в каком случае не могут послать туда ночью.

– Полно, братец! и не думай, да и я тебя не пушу, – отвечал Калугин, очень хорошо зная, однако, что Гальцин ни за что не пойдет туда. – Еще успеешь, братец!

– Серьезно? Так думаешь, что не надо ходить? а?

В это время в том направлении, по которому смотрели эти господа, за артиллерийским гулом послышалась ужасная трескотня ружей, и тысячи маленьких огней, беспрестанно вспыхивая, заблестели по всей линии.

– Вот оно когда пошло настоящее! – сказал Калугин. – Этого звука ружейного я слышать не могу хладнокровно, как-то, знаешь, за душу берет. Вон и «ура», – прибавил он, прислушиваясь к дальнему протяжному гулу сотен голосов: «а-а-а-а» – доносившихся до него с бастиона.

– Чье это «ура»? их или наше?

– Не знаю, но это уж рукопашная пошла, потому что стрельба затихла.

В это время под окном, к крыльцу, подскочил ординарец офицер с казаком и слез с лошади.

– Откуда?

– С бастиона. Генерала нужно.

– Пойдемте. Ну что?

– Атаковали ложементы... заняли... французы подвели огромные резервы... атаковали наших... было только два батальона, – говорил, запыхавшись, тот же самый офицер, который приходил вечером, с трудом переводя дух, но совершенно развязно направляясь к двери.

– Что ж, отступили? – спросил Гальцин.

– Нет, – сердито отвечал офицер, – подоспел батальон, отбили, но полковой командир убит, офицеров много, приказано просить подкрепления...

И с этими словами он с Калугиным прошел к генералу, куда уже мы не последуем за ними.

⁷ Нет, скажите: правда, нынче ночью что-нибудь будет? (*фр.*).

⁸ Какой красивый вид! (*фр.*).

Через пять минут Калугин сидел верхом на казачьей лошади (и опять той особенной quasi-казацкой посадкой, в которой, я замечал, все адъютанты видят почему-то что-то особенно приятное) и рысцой ехал на бастион, с тем чтобы передать туда некоторые приказания и дожидаться известий об окончательном результате дела; а князь Гальцин, под влиянием того тяжелого волнения, которое производят обыкновенно близкие признаки дела на зрителя, не принимающего в нем участия, вышел на улицу и без всякой цели стал взад и вперед ходить по ней.

6

Толпы солдат несли на носилках и вели под руки раненых. На улице было совершенно темно; только редко, редко где светились окна в госпитале или у засидевшихся офицеров. С бастионов доносился тот же грохот орудий и ружейной перепалки, и те же огни вспыхивали на черном небе. Изредка слышался топот лошади проскакавшего ординарца, стон раненого, шаги и говор носильщиков или женский говор испуганных жителей, вышедших на крылечко посмотреть на канонаду.

В числе последних был и знакомый нам Никита, старая матроска, с которой он помирился уже, и десятилетняя дочь ее.

– Господи, мати Пресвятая Богородицы! – говорила в себя и вздыхая старуха, глядя на бомбы, которые, как огненные мячики, беспрестанно перелетали с одной стороны на другую. – Страсти-то, страсти какие! И-и-хи-хи. Такого и в первую бандировку не было. Вишь, где лопнула проклятая, – прямо над нашим домом в слободке.

– Нет, это дальше, к тетиньке Аринке в сад всё попадают, – сказала девочка.

– И где-то, где-то барин мой таперича? – сказал Никита нараспев и еще пьяный немного. – Уж как я люблю евтого барина своего, так сам не знаю. Он меня бьет, а все-таки я его ужасно как люблю. Так люблю, что если, избави бог, да убьют его грешным делом, так, верите ли, тетинька, я после евтого сам не знаю, что могу над собой произвести. Ей-богу! Уж такой барин, что одно слово! Разве с евtimi сменить, что тут в карты играют, – это что – тьфу! – одно слово! – заключил Никита, указывая на светящееся окно комнаты барина, в которой во время отсутствия штабс-капитана юнкер Жвадческий позвал к себе на кутеж, по случаю получения креста, гостей: подпоручика Угровича и поручика Непшитшетского, того самого, которому надо было идти на бастион и который был нездоров флюсом.

– Звездочки-то, звездочки так и катятся, – глядя на небо, прервала девочка молчание, следовавшее за словами Никиты, – вон, вон еще скатилась! К чему это так? а, маынька?

– Совсем разобьют домишко наш, – сказала старуха, вздыхая и не отвечая на вопрос девочки.

– А как мы нынче с дяинькой ходили туда, маынька, – продолжала певучим голосом разговаривавшая девочка, – так большущая такая ядро в самой комнатке подле шкапа лежит; она сенцы, видно, пробила да в горницу и влетела. Такая большущая, что не поднимешь.

– У кого были мужья да деньги, так повыехали, – говорила старуха, – а тут – ох, горе-то, горе, последний домишко и тот разбили. Вишь как, вишь как палит злодей! Господи, господи!

– А как нам только выходить, как одна бомба прилети-и-ит, как лопни-и-ит, как – засыпи-и-ит землю, так даже чуть-чуть нас с дяинькой одним оскретком не задело.

– Крест ей за это надо, – сказал юнкер, который вместе с офицерами вышел в это время на крыльцо посмотреть на перепалку.

– Ты сходи до генерала, старуха, – сказал поручик Непшитшетский, трепля ее по плечу, – право!

– Pójdę na ulicę zobaczk co tam nowego⁹, – прибавил он, спускаясь с лесенки.
– A my tym czasem napijmy siz wódki, bo cos dusza w pigty ucieka¹⁰, – сказал, смеясь, веселый юнкер Жвадческий.

7

Все больше и больше раненых на носилках и пешком, поддерживаемых одни другими и громко разговаривающих между собой, встречалось князю Гальцину.

– Как они подскочили, братцы мои, – говорил басом один высокий солдат, несший два ружья за плечами, – как подскочили, как крикнут: Алла, Алла!¹¹ так-так друг на друга и лезут. Одних бьешь, а другие лезут – ничего не сделаешь. Видимо-невидимо...

Но в этом месте рассказа Гальцин остановил его.

– Ты с бастиона?

– Так точно, ваше благородие.

– Ну, что там было? Расскажи.

– Да что было? Подступила их, ваше благородие, *сила*, лезут на вал, да и шабаш. Одолели совсем, ваше благородие!

– Как одолели? Да ведь вы отбили же?

– Где тут отбить, когда *его* вся *сила* подошла: перебил всех наших, а сикурсу не подают. (Солдат ошибался, потому что траншея была за нами, но это – странность, которую всякий может заметить: солдат, раненный в деле, всегда считает его проигранным и ужасно кровопролитным.)

– Как же мне говорили, что отбили, – с досадой сказал Гальцин.

В это время поручик Непшитшетский в темноте, по белой фуражке, узнав князя Гальцина и желая воспользоваться случаем, чтобы поговорить с таким важным человеком, подошел к нему.

– Не изволите ли знать, что это такое было? – спросил он учтиво, дотрогиваясь рукою до козырька.

– Я сам расспрашиваю, – сказал князь Гальцин и снова обратился к солдату с двумя ружьями, – может быть, после тебя отбили? Ты давно оттуда?

– Сейчас, ваше благородие! – отвечал солдат. – Вряд ли, должно, за ним траншея осталась, – совсем одолел.

– Ну, как вам не стыдно – отдали траншею. Это ужасно! – сказал Гальцин, огорченный этим равнодушием. – Как вам не стыдно! – повторил он, отворачиваясь от солдата.

– О! это ужасный народ! Вы их не изволите знать, – подхватил поручик Непшитшетский, – я вам скажу, от этих людей ни гордости, ни патриотизма, ни чувства лучше не спрашивайте. Вы вот посмотрите, эти толпы идут, ведь тут десятой доли нет раненых, а то всё *асистенты*, только бы уйти с дела. Подлый народ! Срам так поступать, ребята, срам! Отдать *нашу* траншею! – добавил он, обращаясь к солдатам.

– Что ж, когда *сила*! – проворчал солдат.

– И! ваши благородия, – заговорил в это время солдат с носилок, поравнявшихся с ними, – как же не отдать, когда перебил всех почитай? Кабы наша сила была, ни в жисть бы не отдали. А то что сделаешь? Я одного заколол, а тут меня как ударит... О-ох, легче, братцы, ровнее, братцы, ровней иди... о-о-о! – застонал раненый.

⁹ Сходить на улицу, узнать, что там новенького (*польск.*). – Перев. Л.Н. Толстого.

¹⁰ А мы тем часом кнаксик сделаем, а то что-то уж очень страшно (*польск.*). – Перев. Л.Н. Толстого.

¹¹ Наши солдаты, воюя с турками, так привыкли к этому крику врагов, что теперь всегда рассказывают, что французы тоже кричат «Алла!». (Примеч. Л.Н. Толстого.).

– А в самом деле, кажется, много лишнего народа идет, – сказал Гальцин, останавливая опять того же высокого солдата с двумя ружьями. – Ты зачем идешь? Эй ты, остановись!

Солдат остановился и левой рукой снял шапку.

– Куда ты идешь и зачем? – закричал он на него строго. – Него...

Но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя.

– Ранен, ваше благородие!

– Чем ранен?

– Сюда-то, должно, пулей, – сказал солдат, указывая на руку, – а уж здесь не могу знать, чем голову-то прошибло, – и, нагнув ее, показал окровавленные и слипшиеся волосы на затылке.

– А ружье другое чье?

– Стуцер французской, ваше благородие, отнял; да я бы не пошел, кабы не евтого солдата проводить, а то упадет неравно, – прибавил он, указывая на солдата, который шел немного впереди, опираясь на ружье и с трудом таща и передвигая левую ногу.

– А ты *где* идешь, мерзавец! – крикнул поручик Непшитшетский на другого солдата, который попался ему навстречу, желая своим рвением прислужиться важному князю. Солдат тоже был ранен.

Князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало за поручика Непшитшетского и еще больше за себя. Он почувствовал, что краснеет – что редко с ним случалось, – отвернулся от поручика и, уже больше не расспрашивая раненых и не наблюдая за ними, пошел на перевязочный пункт.

С трудом пробившись на крыльце между пешком шедшими ранеными и носильщиками, входившими с ранеными и выходившими с мертвыми, Гальцин вошел в первую комнату, взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу. Это было слишком ужасно!

8

Большая, высокая темная зала – освещенная только четырьмя или пятью свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых, – была буквально полна. Носильщики беспрестанно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга, и шли за новыми. Лужи крови, видные на местах незанятых, горячее дыхание нескольких сотен человек и испарения рабочих с носилками производили какой-то особенный, тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели четыре свечи на различных концах залы. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипений, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате. *Сестры*, с спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубашками. Доктора, с мрачными лицами и засученными рукавами, стоя на коленях перед ранеными, около которых фельдшера держали свечи, всовывали пальцы в пульные раны, ощупывая их, и переворачивали отбитые висевшие члены, несмотря на ужасные стоны и мольбы страдальцев. Один из докторов сидел около двери за столиком и в ту минуту, как в комнату вошел Гальцин, записывал уже пятьсот тридцать второго.

– Иван Богаев, рядовой третьей роты С. полка, *fractura femoris complicata*¹², – кричал другой из конца залы, ощупывая разбитую ногу. – Переверни-ка его.

– О-ой, отцы мои, вы наши отцы! – кричал солдат, умолая, чтобы его не трогали.

¹² Осложненное раздробление бедра (*лат.*).

– Perforatio capitis¹³.

– Семен Нефердов, подполковник Н. пехотного полка. Вы немножко потерпите, полковник, а то этак нельзя, я брошу, – говорил третий, ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника.

– Ай, не надо! Ой, ради бога, скорее, скорее, ради... а-а-а-а!

– Perforatio pectoris...¹⁴ Севастьян Середа, рядовой... какого полка?.. впрочем, не пишите: moritur¹⁵. Несите его, – сказал доктор, отходя от солдата, который, закатив глаза, хрипел уже...

Человек сорок солдат-носильщиков, дожидаясь ноши перевязанных в госпиталь и мертвых в часовню, стояли у дверей и молча, изредка тяжело вздыхая, смотрели на эту картину...

9

По дороге к бастиону Калугин встретил много раненых; но, по опыту зная, как в деле дурно действует на дух человека это зрелище, он не только не останавливался расспрашивать их, но, напротив, старался не обращать на них никакого внимания. Под горой ему попался ординарец, который, марш-марш, скакал с бастиона.

– Зобкин! Зобкин! Пойдите на минутку.

– Ну, что?

– Вы откуда?

– Из ложементов.

– Ну как там? жарко?

– Ад, ужасно!

И ординарец поскакал дальше.

Действительно, хотя ружейной стрельбы было мало, канонада завязалась с новым жаром и ожесточением.

«Ах, скверно!» – подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство, и ему тоже пришло предчувствие, то есть мысль очень обыкновенная – мысль о смерти. Но Калугин был не штабс-капитан Михайлов, он был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом. Он не поддавался первому чувству и стал ободрять себя. Вспомнил про одного адъютанта, кажется Наполеона, который, передав приказания, марш-марш, с окровавленной головой подскакал к Наполеону.

– Vous êtes blessé?¹⁶ – сказал ему Наполеон.

– Je vous demande pardon, sire, je suis tué!¹⁷ – и адъютант упал с лошади и умер на месте.

Ему показалось, это очень хорошо, и он вообразил себя даже немножко этим адъютантом, потом ударил лошадь плетью, принял еще более лихую *казацкую посадку*, оглянулся на казака, который, стоя на стременах, рысил за ним, и совершенным молодцом приехал к тому месту, где надо было слезать с лошади. Здесь он нашел четырех солдат, которые, усевшись на камушки, курили трубки.

– Что вы здесь делаете? – крикнул он на них.

– Раненого отводили, ваше благородие, да отдохнуть присели, – отвечал один из них, пряча за спину трубку и снимая шапку.

– То-то отдохнуть! марш к своим местам, вот я полковому командиру скажу.

¹³ Прободение черепа (лат.).

¹⁴ Прободение грудной полости (лат.).

¹⁵ Умирает (лат.).

¹⁶ Вы ранены? (фр.).

¹⁷ Извините, государь, я убит (фр.).

И он вместе с ними пошел по траншее в гору, на каждом шагу встречая раненых. Поднявшись в гору, он повернул в траншею налево и, пройдя по ней несколько шагов, очутился совершенно один. Близехонько от него прожужжал осколок и ударился в траншею. Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на него. Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула, и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не было.

Уже раз проникнув в душу, страх не скоро уступает место другому чувству; он, который всегда хвастался, что никогда не нагибается, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее. «Ах, нехорошо! – подумал он, спотыкнувшись, – непременно убьют», – и, чувствуя, как трудно дышалось ему и как пот выступал по всему телу, он удивлялся самому себе, но уже не пытался преодолеть своего чувства.

Вдруг чьи-то шаги послышались впереди его. Он быстро разогнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошел уже не такими скорыми шагами, как прежде. Он не узнавал себя. Когда он сошелся с встретившимся ему саперным офицером и матросом и первый крикнул ему: «Ложитесь!», указывая на светлую точку бомбы, которая, светлее и светлее, быстрее и быстрее приближаясь, шлепнулась около траншеи, он только немного и невольно, под влиянием испуганного крика, нагнул голову и пошел дальше.

– Вишь, какой бравый! – сказал матрос, который преспокойно смотрел на падавшую бомбу и опытным глазом сразу расчел, что осколки ее не могут задеть в траншее, – и ложиться не хочет.

Уже несколько шагов только оставалось Калугину перейти через площадку до блиндажа командира бастиона, как опять на него нашло затмение и этот глупый страх; сердце забилося сильнее, кровь хлынула в голову, и ему нужно было усилие над собою, чтобы пробежать до блиндажа.

– Что вы так запыхались? – сказал генерал, когда он ему передал приказания.

– Шел скоро очень, ваше превосходительство!

– Не хотите ли вина стакан?

Калугин выпил стакан вина и закурил папиросу. Дело уже прекратилось, только сильная канонада продолжалась с обеих сторон. В блиндаже сидел генерал Н., командир бастиона и еще человек шесть офицеров, в числе которых был и Праскухин, и говорили про разные подробности дела. Сидя в этой уютной комнатке, обитой голубыми обоями, с диваном, кроватью, столом, на котором лежат бумаги, стенными часами и образом, перед которым горит лампадка, глядя на эти признаки жилья и на толстые аршинные балки, составлявшие потолок, и слушая выстрелы, казавшиеся слабыми в блиндаже, Калугин решительно понять не мог, как он два раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости; он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя.

– А вот я рад, что и вы здесь, капитан, – сказал он морскому офицеру в штаб-офицерской шинели, с большими усами и Георгием, который вошел в это время в блиндаж и просил генерала дать ему рабочих, чтобы исправить на его батарее две амбразуры, которые были засыпаны. – Мне генерал приказал узнать, – продолжал Калугин, когда командир батареи перестал говорить с генералом, – могут ли ваши орудия стрелять по траншее картечью?

– Одно только орудие может, – угрюмо отвечал капитан.

– Все-таки пойдемте посмотрим.

Капитан нахмурился и сердито крякнул.

– Уж я всю ночь там простоял, пришел хоть отдохнуть немного, – сказал он, – нельзя ли вам одним сходить? там мой помощник, лейтенант Карц, вам всё покажет.

Капитан уже шесть месяцев командовал этой одной из самых опасных батарей, – и даже, когда не было блиндажей, не выходя, с начала осады жил на бастионе и между *моряками* имел репутацию храбрости. Поэтому-то отказ его особенно поразил и удивил Калугина.

«Вот репутации!» – подумал он.

– Ну, так я пойду один, если вы позволите, – сказал он несколько насмешливым тоном капитану, который, однако, не обратил на его слова никакого внимания.

Но Калугин не сообразил того, что он в разные времена всего-навсего провел часов пятьдесят на бастионах, тогда как капитан жил там шесть месяцев. Калугина еще возбуждали тщеславие – желание блеснуть, надежда на награды, на репутацию и прелесть риска; капитан же уж прошел через все это – сначала тщеславился, хвастался, рисковал, надеялся на награды и репутацию и даже приобрел их, но теперь уже все эти побудительные средства потеряли для него силу, и он смотрел на дело иначе: исполнял в точности свою обязанность, но, хорошо понимая, как мало ему оставалось случайностей жизни, после шестимесячного пребывания на бастионе уже не рисковал этими случайностями без строгой необходимости, так что молодой лейтенант, с неделю тому назад поступивший на батарею и показывавший теперь ее Калугину, с которым они бесполезно друг перед другом высовывались в амбразуры и вылезали на банкететы, казался в десять раз храбрее капитана.

Осмотрев батарею и направляясь назад к блиндажу, Калугин наткнулся в темноте на генерала, который с своими ординарцами шел на вышку.

– Ротмистр Праскухин! – сказал генерал. – Сходите, пожалуйста, в правый ложемент и скажите второму батальону М. полка, который там на работе, чтоб он оставил работу, не шумя вышел оттуда и присоединился бы к своему полку, который стоит под горой в резерве. Понимаете? Сами отведите к полку.

– Слушаю-с.

И Праскухин рысью побежал к ложементу.

Стрельба становилась реже.

10

– Это второй батальон М. полка? – спросил Праскухин, прибежав к месту и наткнувшись на солдат, которые в мешках носили землю.

– Так точно-с.

– Где командир?

Михайлов, полагая, что спрашивают ротного командира, вылез из своей ямочки и, принимая Праскухина за начальника, держа руку у козырька, подошел к нему.

– Генерал приказал... вам... извольте идти... поскорей... и главное потише... назад, не назад, а к резерву, – говорил Праскухин, искоса поглядывая по направлению огней неприятеля.

Узнав Праскухина, опустив руку и разобрав, в чем дело, Михайлов передал приказанье, и батальон весело зашевелился, забрал ружья, надел шинели и двинулся.

Кто не испытал, тот не может вообразить себе того наслаждения, которое ощущает человек, уходя после трех часов бомбардирования из такого опасного места, как ложементы. Михайлов, в эти три часа уже несколько раз считавший свой конец неизбежным и несколько раз успевший перецеловать все образа, которые были на нем, под конец успокоился немного, под влиянием того убеждения, что его непременно убьют и что он уже не принадлежит этому миру. Несмотря ни на что, однако, ему большого труда стоило удержать свои ноги, чтобы они не бежали, когда он перед ротой, рядом с Праскухиным, вышел из ложементов.

– До свиданья, – сказал ему майор, командир другого батальона, который оставался в ложементах и с которым они вместе закусывали мыльным сыром, сидя в ямочке около бруствера, – счастливого пути!

– И вам желаю счастливо отстоять; теперь, кажется, затихло.

Но только что он успел сказать это, как неприятель, должно быть, заметив движение в ложементях, стал палить чаще и чаще. Наши стали отвечать ему, и опять поднялась сильная канонада. Звезды высоко, но не ярко блестели на небе; ночь была темна – хоть глаз выколи, – только огни выстрелов и разрыва бомб мгновенно освещали предметы. Солдаты шли скоро и молча и невольно перегоняя друг друга; только слышны были за беспрестанными раскатами выстрелов мерный звук их шагов по сухой дороге, звук столкнувшихся штыков или вздох и молитва какого-нибудь робкого солдата: «Господи, Господи! что это такое!» Иногда слышался стон раненого и крики: «Носилки!» (В роте, которой командовал Михайлов, от одного артиллерийского огня выбыло в ночь двадцать шесть человек.) Вспыхивала молния на мрачном далеком горизонте, часовой с бастиона кричал: «Пу-уш-ка!», и ядро, жужжа над ротой, взрывало землю и взбрасывало камни.

«Черт возьми! как они тихо идут, – думал Праскухин, беспрестанно оглядываясь назад, шагая подле Михайлова, – право, лучше побегу вперед, ведь я передал приказанье... Впрочем, нет, ведь эта скотина может рассказывать потом, что я трус, почти так же, как я вчера про него рассказывал. Что будет, то будет – пойду рядом».

«И зачем он идет со мной, – думал, с своей стороны, Михайлов, – сколько я ни замечал, он всегда приносит несчастье; вот она еще летит прямо сюда, кажется».

Пройдя несколько сот шагов, они столкнулись с Калугиным, который, бодро побрякивая саблей, шел к ложементам, с тем чтобы, по приказанию генерала, узнать, как подвинулись там работы. Но, встретив Михайлова, он подумал, что, чем ему самому под этим страшным огнем идти туда, чего и не было ему приказано, он может расспросить все подробно у офицера, который был там. И действительно, Михайлов подробно рассказал про работы, хотя во время рассказа и немало позабавил Калугина, который, казалось, никакого внимания не обращал на выстрелы, – тем, что при каждом снаряде, иногда падавшем и весьма далеко, приседал, нагибал голову и все уверял, что «это прямо сюда».

– Смотрите, капитан, это прямо сюда, – сказал, подшучивая, Калугин и толкая Праскухина. Пройдя еще немного с ними, он повернул в траншею, ведущую к блиндажу. «Нельзя сказать, чтобы он был очень храбр, этот капитан», – подумал он, входя в двери блиндажа.

– Ну, что новенького? – спросил офицер, который, ужиная, один сидел в комнате.

– Да ничего, кажется, что уж больше дела не будет.

– Как не будет? напротив, генерал сейчас опять пошел на вышку. Еще полк пришел. Да вот она, слышите? опять пошла ружейная. Вы не ходите. Зачем вам? – прибавил офицер, заметив движение, которое сделал Калугин.

«А мне, по-настоящему, непременно надо там быть, – подумал Калугин, – но уж я и так нынче много подвергал себя. Надеюсь, что я нужен не для одной *chair à canon*¹⁸».

– И в самом деле, я их лучше тут подожду, – сказал он.

Действительно, минут через двадцать генерал вернулся вместе с офицерами, которые были при нем; в числе их был и юнкер барон Пест, но Праскухина не было. Ложементы были отбиты и заняты нами.

Получив подробные сведения о деле, Калугин вместе с Пестом вышел из блиндажа.

11

– У тебя шинель в крови: неужели ты дрался в рукопашном? – спросил его Калугин.

¹⁸ Пушечное мясо (*фр.*).

– Ах, братец, ужасно! можешь себе представить... – И Пест стал рассказывать, как он вел всю роту, как ротный командир был убит, как он заколол француза и что ежели бы не он, то ничего бы не было и т. д.

Основания этого рассказа, что ротный командир был убит и что Пест убил француза, были справедливы; но, передавая подробности, юнкер выдумывал и хвастал.

Хвастал невольно, потому что, во время всего дела находясь в каком-то тумане и забытый до такой степени, что все, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то, очень естественно, он старался воспроизвести эти подробности с выгодной для себя стороны. Но вот как это было действительно.

Батальон, к которому прикомандирован был юнкер для вылазки, часа два под огнем стоял около какой-то стенки; потом батальонный командир впереди сказал что-то, ротные командиры зашевелились, батальон тронулся, вышел из-за бруствера и, пройдя шагов сто, остановился, построившись в ротные колонны. Песту сказали, чтобы он стал на правом фланге второй роты.

Решительно не отдавая себе отчета, где и зачем он был, юнкер стал на место и с невольно сдержанным дыханием и холодной дрожью, пробегавшей по спине, бессознательно смотрел вперед в темную даль, ожидая чего-то страшного. Ему, впрочем, не столько страшно было, потому что стрельбы не было, сколько дико, странно было подумать, что он находился вне крепости, в поле. Опять батальонный командир впереди сказал что-то. Опять шепотом заговорили офицеры, передавая приказания, и черная стена первой роты вдруг опустилась. Приказано было лечь. Вторая рота легла также, и Пест, ложась, наколол руку на какую-то колючку. Не лег только один командир второй роты, его невысокая фигура, с вынутой шпагой, которой он размахивал, не переставая говорить, двигалась перед ротой.

– Ребята! смотри, молодцами у меня! С ружей не палить, а штыками их, каналов. Когда я крикну «ура!» – за мной и не отставать... Дружней, главное дело... покажем себя, не ударим лицом в грязь, а, ребята? За царя, за батюшку! – говорил он, пересыпая свои слова ругательствами и ужасно размахивая руками.

– Как фамилия нашего ротного командира? – спросил Пест у юнкера, который лежал рядом с ним. – Какой он храбрый!

– Да, как в дело, всегда – мертвецки, – отвечал юнкер, – Лисинковский его фамилия.

В это время перед самой ротой мгновенно вспыхнуло пламя, раздался ужаснейший треск, оглушил всю роту, и высоко в воздухе зашуршали камни и осколки (по крайней мере, секунд через пятьдесят один камень упал сверху и отбил ногу солдату). Это была бомба с *элевационного станка*, и то, что она попала в роту, доказывало, что французы заметили колонну.

– Бомбами пускать! сукин сын... Дай только добратся, тогда попробуешь штыка трехгранного русского, проклятый! – заговорил ротный командир так громко, что батальонный командир должен был приказать ему молчать и не шуметь так много.

Вслед за этим первая рота встала, за ней вторая – приказано было взять ружья наперевес, и батальон пошел вперед. Пест был в таком страхе, что он решительно не помнил, долго ли? куда? и кто, на что? Он шел как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестело миллион огней, засвистело, затрещало что-то; он закричал и побежал куда-то, потому что все бежали и все кричали. Потом он спотыкнулся и упал на что-то – это был ротный командир (который был ранен впереди роты и, принимая юнкера за француза, схватил его за ногу). Потом, когда он вырвал ногу и приподнялся, на него в темноте спиной наскочил какой-то человек и чуть опять не сбил с ног, другой человек кричал: «*Коли его! что смотришь?*» Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. «*A moi, camarades! Ah, sacré b... Ah! Dieu!*»¹⁹ – закричал кто-то страшным, пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколол француза.

¹⁹ Ко мне, товарищи! О, черт! О Господи! (фр.).

Холодный пот выступил у него по всему телу, он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение; ему тотчас же пришло в голову, что он герой. Он схватил ружье и вместе с толпой, крича «ура», побежал прочь от убитого француза, с которого тут же солдат стал снимать сапоги. Пробежав шагов двадцать, он прибежал в траншею. Там были наши и батальонный командир.

– А я заколол одного! – сказал он батальонному командиру.

– Молодцом, барон...

12

– А знаешь, Праскухин убит, – сказал Пест, провожая Калугина, который шел к дому.

– Не может быть!

– Как же, я сам его видел.

– Прощай, однако, мне надо скорее.

«Я очень доволен, – думал Калугин, возвращаясь к дому, – в первый раз на мое дежурство счастье. Отличное дело, я – жив и цел, представления будут отличные, и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем, я и стою ее».

Доложив генералу все, что нужно было, он пришел в свою комнату, в которой, уже давно вернувшись и дожидаясь его, сидел князь Гальцин, читая «*Splendeur et misères des courtisanes*»²⁰, которую нашел на столе Калугина.

С удивительным наслаждением Калугин почувствовал себя дома, вне опасности, и, надев ночную рубашку, лежа в постели, уж рассказал Гальцину подробности дела, передавая их весьма естественно, – с той точки зрения, с которой подробности эти доказывали, что он, Калугин, весьма дельный и храбрый офицер, на что, мне кажется, излишне бы было намекать, потому что это все знали и не имели никакого права и повода сомневаться, исключая, может быть, покойника ротмистра Праскухина, который, несмотря на то, что, бывало, считал за счастье ходить под руку с Калугиным, вчера только по секрету рассказывал одному приятелю, что Калугин очень хороший человек, но, между нами будь сказано, ужасно не любит ходить на бастионы.

Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как он увидел молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услышал крик часового: «Маркела!» – и слова одного из солдат, шедших сзади: «Как раз на батальон прилетит!»

Михайлов оглянулся: светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените – в том положении, когда решительно нельзя определить ее направления. Но это продолжалось только мгновение: бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистывание, опускалась прямо в середину батальона.

– Ложись! – крикнул чей-то испуганный голос.

Михайлов упал на живот. Праскухин невольно согнулся до самой земли и зажмурился; он слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом, – бомбу не рвало. Праскухин испугался, не напрасно ли он струсил, – может быть, бомба упала далеко и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с самолюбивым удовольствием увидел, что Михайлов, которому он должен двенадцать рублей с полтиной, гораздо ниже и около самых ног его, недвижимо, прижавшись к нему, лежал на брюхе. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой, в аршине от него, крутившейся бомбы.

²⁰ «Роскошь и убожество куртизанок», роман Бальзака. Одна из тех милых книг, которых развелось такая пропасть в последнее время и которые пользуются особенной популярностью почему-то между нашей молодежью. (Примеч. Л.Н. Толстого.).

Ужас – холодный, исключаящий все другие мысли и чувства ужас – объял все существо его; он закрыл лицо руками и упал на колена.

Прошла еще секунда – секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.

«Кого убьет – меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову, так все кончено; а ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, – и я могу еще жив остаться. А может быть, одного Михайлова убьет, тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, и его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе – меня».

Тут он вспомнил про двенадцать рублей, которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову; женщина, которую он любил, явилась ему в воображении, в чепце с лиловыми лентами; человек, которым он был оскорблен пять лет тому назад и которому он не отплатил за оскорбление, вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний, чувство настоящего – ожидания смерти и ужаса – ни на мгновение не покидало его. «Впрочем, может быть, не лопнет», – подумал он и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки, глаза его поразил красный огонь, с страшным треском что-то толкнуло его в середину груди; он побежал куда-то, спотыкнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок.

«Слава богу! Я только контужен», – было его первою мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди, – но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали голову. В глазах его мелькали солдаты – и он бессознательно считал их: «Один, два, три солдата, а вот в подвернутой шинели офицер», – думал он; потом молния блеснула в его глазах, и он думал, из чего это выстрелили: из мортиры или из пушки? Должно быть, из пушки; а вот еще выстрелили, а вот еще солдаты – пять, шесть, семь солдат, идут всё мимо. Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его; он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к нёбу, и ужасная жажда мучила его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди, – это ощущение мокроты напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. «Верно, я в кровь разбился, как упал», – подумал он, и, все более и более начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: «Возьмите меня», – но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, – и ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни всё прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди.

13

Михайлов, увидав бомбу, упал на землю и так же зажмурился, так же два раза открывал и закрывал глаза и так же, как и Праскухин, необъятно много передумал и перечувствовал в эти две секунды, во время которых бомба лежала неразорванной. Он мысленно молился Богу и все твердил: «Да будет воля Твоя! И зачем я пошел в военную службу, – вместе с тем думал он, – и еще перешел в пехоту, чтобы участвовать в кампании; не лучше ли было мне оставаться в уланском полку в городе Т., проводить время с моим другом Наташей... а теперь вот что!» И он начал считать: раз, два, три, четыре, загадывая, что ежели разорвет в чет, то он будет жив, а в нечет – то будет убит. «Все кончено! – убит!» – подумал он, когда бомбу разорвало (он не помнил, в чет или нечет), и он почувствовал удар и жестокую боль в голове. «Господи,

прости мои согрешения!» – проговорил он, всплеснув руками, приподнялся и без чувств упал навзничь.

Первое ощущение, когда он очнулся, была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся гораздо слабее. «Это душа отходит, – подумал он, – что будет *там*? Господи! Приими дух мой с миром. Только одно странно, – рассуждал он, – что, умирая, я так ясно слышу шаги солдат и звуки выстрелов».

– Давай носилки – эй! ротного убило! – крикнул над его головой голос, который он невольно узнал за голос барабанщика Игнатьева.

Кто-то взял его за плечи. Он попробовал открыть глаза и увидел над головой темно-синее небо, группы звезд и две бомбы, которые летели над ним, догоняя одна другую, увидел Игнатьева, солдат с носилками и ружьями, вал траншеи и вдруг поверил, что он еще не на том свете.

Он был камнем легко ранен в голову. Самое первое впечатление его было как будто сожаление: он так было хорошо и спокойно приготовился к переходу *туда*, что на него неприятно подействовало возвращение к действительности, с бомбами, траншеями, солдатами и кровью; второе впечатление его была бессознательная радость, что он жив, и третье – страх и желание уйти скорей с бастиона. Барабанщик платком завязал голову своему командиру и, взяв его под руку, повел к перевязочному пункту.

«Куда и зачем я иду, однако? – подумал штабс-капитан, когда он опомнился немного. – Мой долг оставаться с ротой, а не уходить вперед, тем более что и рота скоро выйдет из-под огня, – шепнул ему какой-то голос, – а с раной остаться в деле – непременно награда».

– Не нужно, братец, – сказал он, вырывая руку от услужливого барабанщика, которому, главное, самому хотелось поскорее выбраться отсюда, – я не пойду на перевязочный пункт, а останусь с ротой.

И он повернул назад.

– Вам бы лучше перевязаться, ваше благородие, как следует, – сказал робкий Игнатьев, – ведь это стгоряча она только оказывает, что ничего, а то хуже бы не сделать, ведь тут вон какая жарня идет... право, ваше благородие.

Михайлов остановился на минуту в нерешительности и, кажется, последовал бы совету Игнатьева, ежели бы не вспомнилась ему сцена, которую он на днях видел на перевязочном пункте: офицер с маленькой царапиной на руке пришел перевязываться, и доктора улыбались, глядя на него, и даже один – с бакенбардами – сказал ему, что он никак не умрет от этой раны и что вилкой можно больней уколоться.

«Может быть, так же недоверчиво улыбнутся и моей ране, да еще скажут что-нибудь», – подумал штабс-капитан и решительно, несмотря на доводы барабанщика, пошел назад к роте.

– А где ординарец Праскухин, который шел со мной? – спросил он прапорщика, который вел роту, когда они встретились.

– Не знаю, убит, кажется, – неохотно отвечал прапорщик, который, между прочим, был очень недоволен, что штабс-капитан вернулся и тем лишил его удовольствия сказать, что он один офицер остался в роте.

– Убит или ранен? Как же вы не знаете, ведь он с нами шел. И отчего вы его не взяли?

– Где тут было брать, когда жарня этакая!

– Ах, как же вы это, Михал Иванович, – сказал Михайлов сердито, – как же бросить, ежели он жив; да и убит, так все-таки тело надо было взять, – как хотите, ведь он ординарец генерала и еще жив, может.

– Где жив, когда я вам говорю, я сам подходил и видел, – сказал прапорщик. – Помилуйте! только бы своих уносить. Вон стерва! ядрами теперь стал пускать, – прибавил он, приседая. Михайлов тоже присел и схватился за голову, которая от движенья ужасно заболела у него.

– Нет, непременно надо сходить взять: может быть, он еще жив, – сказал Михайлов. – Это наш *долг*, Михайло Иваныч!

Михайло Иваныч не отвечал.

«Вот ежели бы он был хороший офицер, он бы взял тогда, а теперь надо солдат посылать одних; а и посылать как? Под этим страшным огнем могут убить задаром», – думал Михайлов.

– Ребята! Надо сходить назад – взять офицера, что ранен там, в канаве, – сказал он не слишком громко и повелительно, чувствуя, как неприятно будет солдатам исполнять это приказание, – и действительно, так как он ни к кому именно не обращался, никто не вышел, чтобы исполнить его.

– Унтер-офицер! Поди сюда.

Унтер-офицер, как будто не слыша, продолжал идти на своем месте.

«И точно, может, он уже умер и *не стоит* подвергать людей напрасной опасности, а виноват один я, что не позаботился. Схожу сам, узнаю, жив ли он. Это мой *долг*», – сказал сам себе Михайлов.

– Михал Иваныч! Ведите роту, а я вас догоню, – сказал он и, одной рукой подобрал шинель, другой рукой дотрагиваясь беспрестанно до образа Митрофания-угодника, в которого он имел особенную веру, почти ползком и дрожа от страха, рысью побежал по траншее.

Убедившись в том, что товарищ его был убит, Михайлов, так же пытая, приседая и придерживая рукой сбившуюся повязку и голову, которая сильно начинала болеть у него, потащился назад. Батальон уже был под горой на месте и почти вне выстрелов, когда Михайлов догнал его. Я говорю: *почти* вне выстрелов, потому что изредка залетали и сюда шальные бомбы (осколком одной в эту ночь убит один капитан, который сидел во время дела в матросской землянке).

«Однако надо будет завтра сходить на перевязочный пункт записаться, – подумал штабс-капитан, в то время как пришедший фельдшер перевязывал его, – это поможет к представлению».

14

Сотни свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких надежд и желаний, с окоченелыми членами, лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни Мертвых в Севастополе; сотни людей – с проклятиями и молитвами на пересохших устах – ползали, ворочались и стонали, – одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пункта; а все так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все так же, как и в прежние дни, обещающая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплыло могучее, прекрасное светило.

15

На другой день вечером опять егерская музыка играла на бульваре, и опять офицеры, юнкера, солдаты и молодые женщины празднично гуляли около павильона и по нижним аллеям из цветущих душистых белых акаций.

Калугин, князь Галыцин и какой-то полковник ходили под руки около павильона и говорили о вчерашнем деле. Главную путеводительную нитью разговора, как это всегда бывает в подобных случаях, было не самое дело, а то участие, которое принимал, и храбрость, которую выказал рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их имели серьезное, почти печальное

выражение, как будто потери вчерашнего дня сильно трогали и огорчали каждого, но, сказать по правде, так как никто из них не потерял очень близкого человека (да и бывают ли в военном быту очень близкие люди?), это выражение печали было выражением официальное, которое они только считали обязанностью выказывать. Напротив, Калугин и полковник были бы готовы каждый день видеть такое дело, с тем чтобы только каждый раз получать золотую саблю и генерал-майора, несмотря на то, что они были прекрасные люди. Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя, для своего честолюбия губящего миллионы. Да спросите по совести прапорщика Петрушова и подпоручика Антонова и т. д., всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человека сотню для того только, чтоб получить лишнюю звездочку или треть жалованья.

– Нет, извините, – говорил полковник, – прежде началось на левом фланге. *Ведь я был там.*

– *А может быть, – отвечал Калугин, – я больше был на правом; я два раза туда ходил: один раз отыскивал генерала, а другой раз так, посмотреть ложементы, пошел. Вот где жарко было.*

– Да уж, верно, Калугин знает, – сказал полковнику князь Гальцин, – ты знаешь, мне нынче В... про тебя говорил, что ты молодец.

– Потери только, потери ужасные, – сказал полковник тоном официальной печали, – *у меня в полку четыреста человек выбыло.* Удивительно, как я жив вышел оттуда.

В это время навстречу этим господам, на другом конце бульвара, показалась лиловатая фигура Михайлова на стоптанных сапогах и с повязанной головой. Он очень сконфузился, увидав их: ему вспомнилось, как он вчера приседал перед Калугиным, и пришло в голову, как бы они не подумали, что он притворяется раненым. Так что ежели бы эти господа не смотрели на него, то он бы сбежал вниз и ушел бы домой, с тем чтобы не выходить до тех пор, пока можно будет снять повязку.

– *Il fallait voir dans quel état je l'ai rencontré hier sous le feu*²¹, – улыбнувшись, сказал Калугин в то время, как они сходились.

– Что, вы ранены, капитан? – сказал Калугин с улыбкой, которая значила: «Что, вы видели меня вчера? каков я?»

– Да, немножко, камнем, – отвечал Михайлов, краснея и с выражением на лице, которое говорило: «Видел, и признаюсь, что вы молодец, а я очень, очень плох».

– *Est-ce que le pavillon est baissé déjà?*²² – спросил князь Гальцин опять с своим высокомерным выражением, глядя на фуражку штабс-капитана и не обращаясь ни к кому в особенности.

– *Non pas encore*²³, – отвечал Михайлов, которому хотелось показать, что он знает и поговорить по-французски.

– Неужели продолжается еще перемирие? – сказал Гальцин, учтиво обращаясь к нему по-русски и тем говоря, – как это показалось штабс-капитану, – что вам, должно быть, тяжело будет говорить по-французски, так не лучше ли уж просто?... И с этим адъютанты отошли от него.

Штабс-капитан, так же как и вчера, почувствовал себя чрезвычайно одиноким и, поклонившись с разными господами – с одними не желая сходить, а к другим не решаясь подойти, – сел около памятника Казарского и закурил папиросу.

Барон Пест тоже пришел на бульвар. Он рассказывал, что был на перемирии и говорил с французскими офицерами, что будто один французский офицер сказал ему: «*S'il n'avait pas fait*

²¹ Надо было видеть, в каком состоянии я его встретил вчера под огнем (фр.).

²² Разве флаг уже спущен? (фр.).

²³ Нет еще (фр.).

clair encore pendant une demi-heure, les embuscades auraient été reprises»²⁴, и как он отвечал ему: «Monsieur! Je ne dit pas non, pour ne pas vous donner un démenti»²⁵, и как хорошо он сказал и т. д.

В сущности же, хотя и был на перемирии, он не успел сказать там ничего очень умного, хотя ему и ужасно хотелось поговорить с французами (ведь это ужасно весело говорить с французами). Юнкер барон Пест долго ходил по линии и все спрашивал французов, которые были близко к нему: «De quel régiment êtes-vous?»²⁶ Ему отвечали – и больше ничего. Когда же он зашел слишком далеко за линию, то французский часовой, не подозревая, что этот солдат знает по-французски, в третьем лице выругал его. «Il vient regarder nos travaux, se sacré с...»²⁷, – сказал он.

Вследствие чего, не находя больше интереса на перемирии, юнкер барон Пест поехал домой и уже дорогой придумал те французские фразы, которые теперь рассказывал. На бульваре были и капитан Зобов, который громко разговаривал, и капитан Обжогов в растерзанном виде, и артиллерийский капитан, который ни в ком не заискивает, и счастливый в любви юнкер, и все те же вчерашние лица и всё с теми же вечными побуждениями лжи, тщеславия и легкомыслия. Недоставало только Праскухина, Нефердова и еще кой-кого, о которых здесь едва ли помнил и думал кто-нибудь теперь, когда тела их еще не успели быть обмыты, убраны и зарыты в землю, и о которых через месяц точно так же забудут отцы, матери, жены, дети, ежели они были или не забыли про них прежде.

– А я его не узнал было, старика-то, – говорит солдат на уборке тел, за плечи поднимая перебитый в груди труп с огромной раздувшейся головой, почернелым глянцеvitым лицом и вывернутыми зрачками, – под спину берись, Морозка, а то как бы не перервался. Ишь, дух скверный!

«Ишь, дух скверный!» – вот все, что осталось между людьми от этого человека.

16

На нашем бастионе и на французской траншее выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине кучками лежат без сапог, в серых и в синих одеждах, изуродованные трупы, которые сносят рабочие и накладывают на повозки. Ужасный, тяжелый запах мертвого тела наполняет воздух. Из Севастополя и из французского лагеря толпы народа высыпали смотреть на это зрелище и с жадным и благосклонным любопытством стремятся одни к другим.

Послушайте, что говорят между собой эти люди.

Вот в кружке собравшихся около него русских и французов молоденький офицер, хотя плохо, но достаточно хорошо, чтоб его понимали, говорящий по-французски, рассматривает гвардейскую сумку.

– Э сеси пуркуа се уазо иси? – говорит он.

– Parce que c'est une giberne d'un régiment de la garde, monsieur, qui porte l'aigle impérial.

– Э ву де ла гард?

– Pardon, monsieur, du sixième de ligne.

– Э сеси у аште?²⁸ – спрашивает офицер, указывая на деревянную желтую сигарочницу, в которой француз курит папиросу.

– A Balaclave, monsieur! C'est tout simple – en bois de palme²⁹.

²⁴ Если бы еще полчаса было темно, ложементы были бы вторично взяты (фр.).

²⁵ Я не говорю нет, только чтобы вам не противоречить (фр.).

²⁶ Какого вы полка? (фр.).

²⁷ Он идет смотреть наши работы, этот проклятый... (фр.).

²⁸ – Почему эта птица здесь? – Потому что это сумка гвардейского полка; у него императорский орел. – А вы из гвардии? – Нет, извините, сударь, из шестого линейного. – А это где купили? (фр.).

²⁹ В Балаклаве. Это пустяк – из пальмового дерева (фр.).

– Жоли! – говорит офицер, руководимый в разговоре не столько собственным произволом, сколько словами, которые он знает.

– Si vous voulez bien garder cela comme souvenir de cette rencontre, vous m'obligerez³⁰. – И учтивый француз выдувает папироску и подает офицеру сигарочницу с маленьким поклоном. Офицер дает ему свою, и все присутствующие в группе, как французы, так и русские, кажутся очень довольными и улыбаются.

Вот пехотный бойкий солдат, в розовой рубашке и шинели внакидку, в сопровождении других солдат, которые, руки за спину, с веселыми, любопытными лицами, стоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает, расковыривает трубку и высыпает огня русскому.

– Табак *бун*, – говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются.

– Oui, bon tabac, tabac turc, – говорит француз, – et chez vous tabac russe? bon?³¹

– Рус бун, – говорит солдат в розовой рубашке, причем присутствующие покатываются со смеху. – Франсе нет бун, бонжур, мусье, – говорит солдат в розовой рубашке, сразу уж выпуская весь свой заряд знаний языка, и треплет француз по животу и смеется. Французы тоже смеются.

– Ils ne sont pas jolis ces bêtes de russes³², – говорит один зуав из толпы французов.

– De quoi de ce qu'ils rient donc?³³ – говорит другой черный, с итальянским выговором, подходя к нашим.

– Кафтан бун, – говорит бойкий солдат, рассматривая шитые полы зуава, и опять смеются.

– Ne sortez pas de la ligne, à vos places, sacré nom...³⁴ – кричит французский капрал, и солдаты с видимым неудовольствием расходятся.

А вот в кружке французских офицеров наш молодой кавалерийский офицер так и рассыпается французским парикмахерским жаргоном. Речь идет о каком-то comte Sazonoff, que j'ai beaucoup connu, m-r³⁵, – говорит французский офицер с одним эполетом, – c'est un de ces vrais comtes russes, comme nous les aimons³⁶.

– Il y a un Sazonoff que j'ai connu, – говорит кавалерист, – mais il n'est pas comte, a moins que je sache, un petit brun de votre âge à peu près.

– C'est ça, m-r, c'est lui. Oh, que je voudrais le voir ce cher comte. Si vous le voyez, je vous pris bien de lui faire mes compliments. – Capitaine Latour³⁷, – говорит он, кланяясь.

– N'est ce pas terrible – la triste besogne que nous faisons? Ça chauffait cette nuit, n'est-ce pas?³⁸ – говорит кавалерист, желая поддержать разговор и указывая на трупы.

– Oh, m-r, c'est affreux! Mais quels gaillards vos soldats, quels gaillards! C'est un plaisir que de se battre contre des gaillards comme eux.

– Il faut avouer que les votres ne se mouchent pas du pied non plus³⁹, – говорит кавалерист, кланяясь и воображая, что он очень мил. Но довольно.

³⁰ Вы меня обяжете, если оставите себе эту вещь на память о нашей встрече (*фр.*).

³¹ Да, хороший табак, турецкий табак, – а у вас русский табак? хороший? (*фр.*)

³² Они некрасивы, эти русские скоты (*фр.*).

³³ Чего это они смеются? (*фр.*).

³⁴ Не выходите за линию, по местам, черт возьми... (*фр.*).

³⁵ графе Сазонове, которого я хорошо знал, сударь (*фр.*).

³⁶ Это один из настоящих русских графов, из тех, которых мы любим (*фр.*).

³⁷ – Я знал одного Сазонова, – говорит кавалерист, – но он, насколько я знаю, не граф, небольшого роста, брюнет, приблизительно вашего возраста. – Это так, это он. О, как я хотел бы встретить этого милого графа. Если вы его увидите, очень прошу передать ему мой привет. – Капитан Латур (*фр.*).

³⁸ Не ужасно ли это печальное дело, которым мы занимались? Жарко было прошлой ночью, не правда ли? (*фр.*).

³⁹ – О! это было ужасно! Но какие молодцы ваши солдаты, какие молодцы! Это удовольствие – драться с такими молодцами! – Надо признаться, что и ваши не ногой сморкаются (*фр.*).

Посмотрите лучше на этого десятилетнего мальчишку, который в старом, должно быть, отцовском, картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одною помочью, с самого начала перемирия вышел за вал и все ходил по ложине, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страшный, безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь к крепости.

Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена смрадными телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди – христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, с раскаянием не упадут вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, как братья? Нет! Белые тряпки спрятаны – и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятия.

Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.

Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.

Ни Калугин с своей блестящей храбростью (*bravoure de gentilhomme*⁴⁰) и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший *на брани за веру, престол и отечество*, ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест – ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести.

Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда.

1855 года, 26 июня

⁴⁰ Храбростью дворянина (*фр.*).

Севастополь в августе 1855 года

1

В конце августа по большой ущелистой севастопольской дороге, между Дуванкой⁴¹ и Бахчисараем, шагом, в густой и жаркой пыли, ехала офицерская тележка (та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой и корзинкой).

В повозке – спереди, на корточках, сидел денщик в нанковом сюртуке и сделавшейся совершенно мягкой бывшей офицерской фуражке, подергивавший вожжами; сзади, на узлах и выюках, покрытых попонкой, сидел пехотный офицер в летней шинели. Офицер был, сколько можно было заключить о нем в сидячем положении, невысок ростом, но чрезвычайно широк, и не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины; он был широк и плотен, шея и затылок были у него очень развиты и напряжены, так называемой талии – перехвата в середине туловища – у него не было, но и живота тоже не было, напротив – он был скорее худ, особенно в лице, покрытом нездоровым желтоватым загаром. Лицо его было бы красиво, ежели бы не какая-то одутловатость и мягкие, нестарческие, крупные морщины, сливавшие и увеличивавшие черты и дававшие всему лицу общее выражение несвежести и грубости. Глаза у него были небольшие, карие, чрезвычайно бойкие, даже наглые; усы очень густые, но не широкие, и обкусанные; а подбородок и особенно скулы покрыты были чрезвычайно крепкой, частой и черной двухдневной бородой. Офицер был ранен 10 мая осколком в голову, на которой еще до сих пор он носил повязку, и теперь, чувствуя себя уже с неделю совершенно здоровым, из симферопольского госпиталя ехал к полку, который стоял где-то там, откуда слышались выстрелы, – но в самом ли Севастополе, на Северной или на Инкермане, он еще ни от кого не мог узнать хорошенько. Выстрелы уже слышались, особенно иногда, когда не мешали горы или доносил ветер, чрезвычайно ясно, часто и, казалось, близко: то как будто взрыв потрясал воздух и невольно заставлял вздрагивать, то быстро друг за другом следовали менее сильные звуки, как барабанная дробь, перебиваемая иногда поразительным гулом, то все сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре и только что полил ливень. Все говорили, да и слышно было, что бомбардированье идет ужасное. Офицер погонял денщика: ему, казалось, хотелось как можно скорей приехать. Навстречу шел большой обоз русских мужиков, привозивших провиант в Севастополь, и теперь шедший оттуда, наполненный больными и ранеными солдатами в серых шинелях, матросами в черных пальто, греческими волонтерами в красных фесках и ополченцами с бородами. Офицерская повозочка должна была остановиться, и офицер, щурясь и морщась от пыли, густым, неподвижным облаком поднявшейся на дороге, набивавшейся ему в глаза и уши и липнувшей на потное лицо, с озлобленным равнодушием смотрел на лица больных и раненых, двигавшихся мимо него.

– А это с нашей роты солдатик слабый, – сказал денщик, оборачиваясь к барину и указывая на повозку, наполненную ранеными, в это время поравнявшуюся с ними.

На повозке спереди сидел боком русский бородач в поярковой шляпе и, локтем придерживая кнутовище, связывал кнут. За ним в телеге тряслись человек пять солдат в различных положениях. Один, с подвязанной какой-то веревочкой рукой, с шинелью внакидку на весьма грязной рубаше, хотя худой и бледный, сидел бодро в середине телеги и взялся было за шапку, увидав офицера, но потом, вспомнив, верно, что он раненый, сделал вид, что он

⁴¹ Последняя станция к Севастополю. (Примеч. Л.Н. Толстого.).

только хотел почесать голову. Другой, рядом с ним, лежал на самом дне повозки; видны были только две исхудалые руки, которыми он держался за грядки повозки, и поднятые колени, как мочалы мотавшиеся в разные стороны. Третий, с опухшим лицом и обвязанной головой, на которой сверху торчала солдатская шапка, сидел сбоку, спустив ноги к колесу, и, облокотившись руками на колени, дремал, казалось. К нему-то и обратился проезжий офицер.

– Должников! – крикнул он.

– Я-о, – отвечал солдат, открывая глаза и снимая фуражку, таким густым и отрывистым басом, как будто человек двадцать солдат крикнули вместе.

– Когда ты ранен, братец?

Оловянные, заплывшие глаза солдата оживились: он, видимо, узнал своего офицера.

– Здравия желаем, вашбородие! – тем же отрывистым басом крикнул он.

– Где нынче полк стоит?

– В Севастополе стояли; в середу переходить хотели, вашбородие!

– Куда?

– Неизвестно... должно, на Сиверную, вашбородие! Нынче, вашбородие, – прибавил он протяжным голосом и надевая шапку, – уже скрость палить стал, все больше с бомбов, ажно в бухту доносит; нынче так бьет, что бяда ажно...

Дальше нельзя было слышать, что говорил солдат; но по выражению его лица и позы видно было, что он, с некоторой злобой страдающего человека, говорил вещи неутешительные.

Проезжий офицер, – поручик Козельцов, был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то, а не делают того-то потому, что так живут и делают другие: он делал все, что ему хотелось, а другие уже делали то же самое и были уверены, что это хорошо. Его натура была довольно богата; он был неглуп и вместе с тем талантлив, хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко и писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом; но более всего замечательна была его натура самолюбивой энергией, которая, хотя и была более всего основана на этой мелкой даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских, и особенно военных, кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожаться, и что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений: он сам с собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал.

– Как же! очень буду слушать, что *Москва*⁴² болтает! – пробормотал поручик, ощущая какую-то тяжесть апатии на сердце и туманность мыслей, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардирования. – *Смешная эта Москва...* Пошел, Николаев, трогай же... Что ты заснул! – прибавил он несколько ворчливо на денщика, поправляя полы шинели.

Вожжи задергались, Николаев зачмокал, и повозочка покатила рысью.

– Только покормим минутку и сейчас, нынче же, дальше, – сказал офицер.

2

Уже въезжая в улицу разваленных остатков каменных стен татарских домов Дуванкой, поручик Козельцов снова был задержан транспортом бомб и ядер, шедшим в Севастополь и столпившимся на дороге.

Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях разваленного забора, около дороги, и ели арбуз с хлебом.

⁴² Во многих армейских полках офицеры полупрезрительно, полуласкательно называют солдата Москва или еще присяга. (Примеч. Л.Н. Толстого.).

– Далече идете, землячок? – сказал один из них, пережевывая хлеб, солдату, который с небольшим мешком за плечами остановился около них.

– В роту идем из губернии, – отвечал солдат, глядя в сторону от арбуза и поправляя мешок за спиной. – Мы вот почитай что третью неделю при сене ротном находились, а теперь, вишь, потребовали всех; да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывали, что на Корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слыхали, господа?

– В городе, брат, стоит, в городе, – проговорил другой, старый фурштатский солдат, копавший с наслаждением складным ножом в неспелом, белёсом арбузе. – Мы вот только с полдён оттеле идем. Такая страсть, братец ты мой, что и не ходи лучше, а здесь упади где-нибудь, в сене, денек-другой пролежи – дело-то лучше будет.

– А что так, господа?

– Рази не слышишь, нынче кругом палит, аж и места целого нет. Что нашего брата перебил, и сказать нельзя! – И говоривший махнул рукой и поправил шапку.

Прохожий солдат задумчиво покачал головой, почмокал языком, потом достал из голенища трубочку, не накладывая ее, расковырял прижатый табак, зажег кусочек трута у курившего солдата и приподнял шапочку.

– Никто, как Бог, господа! Прощенья просим! – сказал он и, встряхнув за спиною мешок, пошел по дороге.

– Эх, обождал бы лучше! – сказал убедительно-протяжно ковырявший арбуз.

– Все одно, – пробормотал прохожий, пролезая между колес столпившихся повозок, – видно, тоже харбуза купить повечерять; вишь, что говорят люди.

3

Станция была полна народом, когда Козельцов подъехал к ней. Первое лицо, встретившееся ему еще на крыльце, был худощавый, очень молодой человек, смотритель, который перебранивался с следовавшими за ним двумя офицерами.

– И не то что трое суток, и десятеро суток подождете! и генералы ждут, батюшка! – говорил смотритель с желанием кольнуть проезжающих, – а я вам не запрыгусь же.

– Так никому не давать лошадей, коли нету!.. А зачем дал какому-то лакею с вещами? – кричал старший из двух офицеров, с стаканом чаю в руках и, видимо, избегая местоимения, но давая чувствовать, что очень легко и *ты* сказать смотрителю.

– Ведь вы сами рассудите, господин смотритель, – говорил с запинками другой, молоденький офицерик, – нам не для своего удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже, стало быть, нужны, коли нас требовали. А то я, право, генералу Крамперу непременно это скажу. А то ведь это что ж... вы, значит, не уважаете офицерского звания.

– Вы всегда испортите! – перебил его с досадой старший. – Вы только мешаете мне; надо уметь с ними говорить. Вот он и потерял уваженье. Лошадей сию минуту, я говорю!

– И рад бы, батюшка, да где их взять-то?

Смотритель помолчал немного и вдруг разгорячился и, размахивая руками, начал говорить:

– Я, батюшка, сам понимаю и все знаю; да что станете делать! Вот дайте мне только (на лицах офицеров выразилась надежда)... дайте только до конца месяца дожить – и меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган пойду, чем здесь оставаться. Ей-богу! Пусть делают как хотят, когда такие распоряжения: на всей станции теперь ни одной повозки крепкой нет, и клочка сена уж третий день лошади не видали.

И смотритель скрылся в воротах.

Козельцов вместе с офицерами вошел в комнату.

– Что ж, – совершенно спокойно сказал старший офицер младшему, хотя за секунду перед этим он казался разъяренным, – уж три месяца едем, подождем еще. Не беда – успеем.

Дымная, грязная комната была так полна офицерами и чемоданами, что Козельцов едва нашел место на окне, где и присел; вглядываясь в лица и вслушиваясь в разговоры, он начал делать папироску. Направо от двери, около кривого сального стола, на котором стояло два самовара с позеленелой кое-где медью и разложен был сахар в разных бумагах, сидела главная группа: молодой безусый офицер в новом стеганом архалуке, наверное, сделанном из женского капота, доливал чайник; человека четыре таких же молоденьких офицеров находились в разных углах комнаты: один из них, подложив под голову какую-то шубу, спал на диване; другой, стоя у стола, резал жареную баранину безрукому офицеру, сидевшему у стола. Два офицера, один в адъютантской шинели, другой в пехотной, но тонкой, и с сумкой через плечо, сидели около лежанки; и по одному тому, как они смотрели на других и как тот, который был с сумкой, курил сигару, видно было, что они не фронтовые пехотные офицеры и что они довольны этим. Не то чтобы видно было презрение в их манере, но какое-то самодовольное спокойствие, основанное частью на деньгах, частью на близких сношениях с генералами, – сознание превосходства, доходящее даже до желания скрыть его. Еще молодой губастый доктор и артиллерист с немецкой физиономией сидели почти на ногах молодого офицера, спящего на диване, и считали деньги. Человека четыре денщиков – одни дремали, другие возились с чемоданами и узлами около двери. Козельцов между всеми лицами не нашел ни одного знакомого; но он с любопытством стал вслушиваться в разговоры. Молодые офицеры, которые, как он тотчас же по одному виду решил, только что ехали из корпуса, понравились ему, и главное, напомнили, что брат его, тоже из корпуса, на днях должен был прибыть в одну из батарей Севастополя. В офицере же с сумкой, которого лицо он видел где-то, ему все казалось противно и нагло. Он даже с мыслью: «Осадить его, ежели бы он вздумал что-нибудь сказать», – перешел от окна к лежанке и сел на нее. Козельцов вообще, как истый фронтовой и хороший офицер, не только не любил, но был возмущен против штабных, которыми он с первого взгляда признал этих двух офицеров.

4

– Однако это ужасно как досадно, – говорил один из молодых офицеров, – что так уже близко, а нельзя доехать. Может быть, нынче дело будет, а нас не будет.

В пискливом тоне голоса и в пятновидном свежем румянце, набежавшем на молодое лицо этого офицера в то время, как он говорил, видна была эта милая молодая робость человека, который беспрестанно боится, что не так выходит его каждое слово.

Безрукий офицер с улыбкой посмотрел на него.

– Поспееете еще, поверьте, – сказал он.

Молодой офицерик с уважением посмотрел на исхудалое лицо безрукого, неожиданно просветлевшее улыбкой, замолчал и снова занялся чаем. Действительно, в лице безрукого офицера, в его позе и особенно в этом пустом рукаве шинели выражалось много этого спокойного равнодушия, которое можно объяснить так, что при всяком деле или разговоре он смотрел, как будто говоря: «Все это прекрасно, все это я знаю и все могу сделать, ежели бы я захотел только».

– Как же мы решим, – сказал снова молодой офицер своему товарищу в архалуке, – ночуем здесь или поедем на *своей* лошади?

Товарищ отказался ехать.

– Вы можете себе представить, капитан, – продолжал разливавший чай, обращаясь к безрукому и поднимая ножик, который уронил этот, – нам сказали, что лошади ужасно дороги в Севастополе, мы и купили сообща лошадь в Симферополе.

- Дорого, я думаю, с вас содрали?
- Право, не знаю, капитан: мы заплатили с повозкой девяносто рублей. Это очень дорого? – прибавил он, обращаясь ко всем и к Козельцову, который смотрел на него.
- Недорого, коли молодая лошадь, – сказал Козельцов.
- Не правда ли? А нам говорили, что дорого... Только она хромая немножко, только это пройдет, нам говорили. Она крепкая такая.
- Вы из какого корпуса? – спросил Козельцов, который хотел узнать о брате.
- Мы теперь из Дворянского полка, нас шесть человек; мы все едем в Севастополь по собственному желанию, – говорил словоохотливый офицерик, – только мы не знаем, где наши батареи: одни говорят, что в Севастополе, а вот они говорили, что в Одессе.
- А в Симферополе разве нельзя было узнать? – спросил Козельцов.
- Не знают... Можете себе представить, наш товарищ ходил там в канцелярию: ему грубостей наговорили... можете себе представить, как неприятно!.. Угодно вам готовую папироску? – сказал он в это время безрукому офицеру, который хотел достать свою сигарочницу. Он с каким-то подобострастным восторгом услуживал ему.
- А вы тоже из Севастополя? – продолжал он. – Ах, боже мой, как это удивительно! Ведь как мы все в Петербурге думали об вас, обо всех героях! – сказал он, обращаясь к Козельцову, с уважением и добродушной лаской.
- Как же вам, может, назад придется ехать? – спросил поручик.
- Вот этого-то мы и боимся. Можете себе представить, что мы, как купили лошадь и обзавелись всем нужным – кофейник спиртовой и еще разные мелочи необходимые, – у нас денег совсем не осталось, – сказал он тихим голосом и оглядываясь на своего товарища, – так что ежели ехать назад, мы уж и не знаем, как быть.
- Разве вы не получили подъемных денег? – спросил Козельцов.
- Нет, – отвечал он шепотом, – только нам обещали тут дать.
- А свидетельство у вас есть?
- Я знаю, что главное – свидетельство; но мне в Москве сенатор один – он мне дядя, – как я у него был, он сказал, что тут дадут, а то бы он сам мне дал. Так дадут так?
- Непременно дадут.
- И я думаю, что, может быть, так дадут, – сказал он таким тоном, который доказывал, что, спрашивая на тридцати станциях одно и то же и везде получая различные ответы, он уже никому не верил хорошенько.

5

- Да как же не дать, – сказал вдруг офицер, бранившийся на крыльце с смотрителем и в это время подошедший к разговаривающим и обращаясь отчасти и к штабным, сидевшим подле, как к более достойным слушателям. – Ведь я так же, как и эти господа, пожелал в действующую армию, даже в самый Севастополь просился от прекрасного места, и мне, кроме прогонов от П., сто тридцать шесть рублей серебром, ничего не дали, а я уж своих больше ста пятидесяти рублей издержал. Подумать только, восемьсот верст третий месяц еду. Вот с этими господами второй месяц. Хорошо, что у меня были свои деньги. Ну, а коли бы не было их?
- Неужели третий месяц? – спросил кто-то.
- А что прикажете делать, – продолжал рассказывающий. – Ведь ежели бы я не хотел ехать, я бы и не просился от хорошего места; так, стало быть, я не стал бы жить по дороге, уж не оттого, чтоб я боялся бы... а возможности никакой нет. В Перекопе, например, я две недели жил; смотритель с вами и говорить не хочет, – когда хотите поезжайте; одних курьерских подорожных вот сколько лежит. Уж, верно, так судьба... ведь я бы желал, да, видно, судьба; я ведь

не оттого, что вот теперь бомбардированье, а, видно, торопись не торопись – все равно; а я бы как желал...

Этот офицер так старательно объяснял причины своего замедления и как будто оправдывался в них, что это невольно наводило на мысль, что он трусит. Это еще стало заметнее, когда он расспрашивал о месте нахождения своего полка и опасно ли там. Он даже побледнел, и голос его оборвался, когда безрукий офицер, который был в том же полку, сказал ему, что в эти два дня у них одних офицеров семнадцать человек выбыло.

Действительно, офицер этот в настоящую минуту был жесточайшим трусом, хотя шесть месяцев тому назад он далеко не был им. С ним произошел переворот, который испытали многие и прежде и после него. Он жил в одной из наших губерний, в которых есть кадетские корпуса, и имел прекрасное покойное место, но, читая в газетах и частных письмах о делах севастопольских героев, своих прежних товарищей, он вдруг возгорелся честолюбием и еще более – патриотизмом.

Он пожертвовал этому чувству весьма многим – и обжитым местом, и квартирой с мягкой мебелью, заведенной осьмилетним старанием, и знакомствами, и надеждами на богатую женитьбу, – он бросил все и подал еще в феврале в действующую армию, мечтая о бессмертном венке славы и генеральских эполетах. Через два месяца после подачи прошения он *по команде* получил запрос, не будет ли он требовать вспомоществования от правительства. Он отвечал отрицательно и терпеливо продолжал ожидать определения, хотя патриотический жар уже успел значительно остыть в эти два месяца. Еще через два месяца он получил запрос, не принадлежит ли он к масонским ложам, и еще подобного рода формальности, и после отрицательного ответа, наконец, на пятый месяц вышло его определение. Во все это время приятели, а более всего то заднее чувство недовольства новым, которое является при каждой перемене положения, успели убедить его в том, что он сделал величайшую глупость, поступив в действующую армию. Когда же он очутился один с изжогой и запыленным лицом, на пятой станции, на которой он встретился с курьером из Севастополя, рассказавшим ему про ужасы войны, прождал двенадцать часов лошадей, – он уже совершенно раскисал в своем легкомыслии, с смутным ужасом думал о предстоящем и ехал бессознательно вперед, как на жертву. Чувство это в продолжение трехмесячного странствования по станциям, на которых почти везде надо было ждать и встречать едущих из Севастополя офицеров с ужасными рассказами, постоянно увеличивалось и наконец довело до того бедного офицера, что из героя, готового на самые отчаянные предприятия, каким он воображал себя в П., в Дуванкой он был жалким трусом; и, съехавшись месяц тому назад с молодежью, едущей из корпуса, он старался ехать как можно тише, считая эти дни последними в своей жизни, на каждой станции разбирал кровать, погребец, составлял партию в преферанс, на жалобную книгу смотрел, как на препровождение времени, и радовался, когда лошадей ему не давали.

Он действительно бы был героем, ежели бы из П. попал прямо на бастионы, а теперь еще много ему надо было пройти моральных страданий, чтобы сделаться тем спокойным, терпеливым человеком в труде и опасности, каким мы привыкли видеть русского офицера. Но энтузиазм уже трудно бы было воскресить в нем.

6

– Кто борщу требовал? – провозгласила довольно грязная хозяйка, толстая женщина лет сорока, с миской шей входя в комнату.

Разговор тотчас же замолк, и все бывшие в комнате устремили глаза на харчевницу. Офицер, ехавший из П., даже подмигнул на нее молодому офицеру.

– Ах, это Козельцов спрашивал, – сказал молодой офицер, – надо его разбудить. Вставай обедать, – сказал он, подходя к спящему на диване и толкая его за плечо.

Молодой мальчик, лет семнадцати, с веселыми черными глазками и румянцем во всю щеку, вскочил энергически с дивана и, протирая глаза, остановился посередине комнаты.

– Ах, извините, пожалуйста, – сказал он серебристым звучным голосом доктору, которого толкнул, вставая.

Поручик Козельцов тотчас же узнал брата и подошел к нему.

– Не узнаешь? – сказал он, улыбаясь.

– А-а-а! – закричал меньшой брат. – Вот удивительно! – и стал целовать брата.

Они поцеловались три раза, но на третьем разе запнулись, как будто обоим пришла мысль: зачем же непременно нужно три раза?

– Ну, как я рад! – сказал старший, вглядываясь в брата. – Пойдем на крыльцо – поговорим.

– Пойдем, пойдем. Я не хочу борщу... ешь ты, Федерсон, – сказал он товарищу.

– Да ведь ты хотел есть.

– Не хочу ничего.

Когда они вышли на крыльцо, меньшой все спрашивал у брата: «Ну, что ты, как, расскажи», – и все говорил, как он рад его видеть, но сам ничего не рассказывал.

Когда прошло минут пять, во время которых они успели помолчать немного, старший брат спросил, отчего меньшой вышел не в гвардию, как этого все *наши* ожидали.

– Ах, да! – отвечал меньшой, краснея при одном воспоминании. – Это ужасно меня убило, и я никак не ожидал, что это случится. Можешь себе представить, перед самым выпуском мы пошли втроем курить, – знаешь эту комнатку, что за швейцарской, ведь и при вас, верно, так же было, – только, можешь вообразить, этот каналья сторож увидал и побежал сказать дежурному офицеру (и ведь мы несколько раз давали на водку сторожу), он и подкрался; только как мы его увидали, те побросали папироски и драло в боковую дверь – а мне уж некуда, он тут мне стал неприятности говорить, разумеется, я не спустил, ну, он сказал инспектору, и пошло. Вот за это-то поставили неполные баллы в поведение, хотя везде были отличные, только из механики двенадцать, ну и пошло. Выпустили в армию. Потом обещали меня перевести в гвардию, да уж я не хотел и просился на войну.

– Вот как!

– Право, я тебе без шуток говорю, все мне так гадко стало, что я желал поскорей в Севастополь. Да, впрочем, ведь ежели здесь счастливо пойдет, так можно еще скорее выиграть, чем в гвардии: там в десять лет в полковники, а здесь Тотлебен так в два года из подполковников в генералы. Ну, а убьют, – так что ж делать!

– Вот ты какой! – сказал брат, улыбаясь.

– А главное, знаешь ли что, брат, – сказал меньшой, улыбаясь и краснея, как будто собиравшись сказать что-нибудь очень стыдное, – все это пустяки; главное, я затем просился, что все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество. Да и с тобой мне хотелось быть, – прибавил он еще застенчивее.

– Какой ты смешной! – сказал старший брат, доставая папиросницу и не глядя на него. – Жалко только, что мы не вместе будем.

– А что, скажи по правде, страшно на бастионах? – спросил вдруг младший.

– Сначала страшно, потом привыкаешь – ничего. Сам увидишь.

– А вот еще что скажи: как ты думаешь, возьмут Севастополь? Я думаю, что ни за что не возьмут.

– Бог знает.

– Одно только досадно, – можешь вообразить, какое несчастье: у нас ведь дорогой целый узел украли, а у меня в нем кивер был, так что я теперь в ужасном положении и не знаю, как я буду являться. Ты знаешь, ведь у нас новые кивера теперь, да и вообще сколько перемен; все к лучшему. Я тебе все это могу рассказать... Я везде бывал в Москве.

Козельцов-второй, Владимир, был очень похож на брата Михайлу, но похож так, как похож распускающийся розан на отцветший шиповник. Волоса у него были те же русые, но густые и выющиеся на висках; на белом нежном затылке у него была русая косичка – признак счастья, как говорят нянюшки. По нежному белому цвету кожи лица не стоял, а вспыхивал, выдавая все движения души, полнокровный молодой румянец. Те же глаза, как и у брата, были у него открытее и светлее, что особенно казалось оттого, что они часто покрывались легкой влагой. Русский пушок пробивал по щекам и над красными губами, весьма часто складывавшимися в застенчивую улыбку и открывавшими белые блестящие зубы. Стройный, широкоплечий, в расстегнутой шинели, из-под которой виднелась красная рубашка с косым воротом, с папироской в руках, облокотившись на перила крыльца, с наивной радостью в лице и жесте, как он стоял перед братом, – это был такой приятно-хорошенький мальчик, что все бы так и смотрели на него. Он чрезвычайно рад был брату, с уважением и гордостью смотрел на него, воображая его героем; но в некоторых отношениях, именно в рассуждении вообще светского образования, которого, по правде сказать, он и сам не имел, умения говорить по-французски, быть в обществе важных людей, танцевать и т. д., – он немножко стыдился за него, смотрел свысока и даже хотел образовать его. Все впечатления его еще были из Петербурга, из дома одной барыни, любившей хороших и бравшей его к себе на праздники, и из дома сенатора в Москве, где он раз танцевал на большом бале.

7

Наговорившись почти досыта и дойдя наконец до того чувства, которое часто испытываешь, что общего мало, хотя и любишь друг друга, – братья помолчали довольно долго.

– Так бери же свои вещи и едем сейчас, – сказал старший.

Младший вдруг покраснел и замаялся.

– Прямо в Севастополь ехать? – спросил он после минуты молчанья.

– Ну да, ведь у тебя немного вещей; я думаю, уложим.

– Прекрасно! сейчас и поедем, – сказал младший со вздохом и пошел в комнату.

Но, не отворяя двери, он остановился в сенях, печально опустив голову, и начал думать:

«Сейчас прямо в Севастополь, в этот ад – ужасно! Однако все равно, когда-нибудь надо же было. Теперь, по крайней мере, с братом...»

Дело в том, что только теперь, при мысли, что, севши в тележку, он, не вылезая из нее, будет в Севастополе и что никакая случайность уже не может задержать его, ему ясно представилась опасность, которой он искал, – и он смутился, испугался одной мысли о близости ее. Кое-как успокоив себя, он вошел в комнату; но прошло четверть часа, а он все не выходил к брату, так что старший отворил наконец дверь, чтоб вызвать его. Меньшой Козельцов, в положении провинившегося школьника, говорил о чем-то с офицером из П. Когда брат отворил дверь, он совершенно растерялся.

– Сейчас, сейчас я выйду, – заговорил он, махая рукой брату. – Подожди меня, пожалуйста, там.

Через минуту он вышел действительно и с глубоким вздохом подошел к брату.

– Можешь себе представить, я не могу с тобой ехать, брат, – сказал он.

– Как? Что за вздор!

– Я тебе всю правду скажу, Миша! У нас уж ни у кого денег нет, и мы все должны этому штабс-капитану, который из П. едет. Ужасно стыдно!

Старший брат нахмурился и долго не прерывал молчанья.

– Много ты должен? – спросил он, исподлобья взглядывая на брата.

– Много... нет, не очень много; но совестно ужасно: он на трех станциях за меня платил, и сахар все его шел... так что я не знаю... да и в преферанс мы играли... я ему немножко остался должен.

– Это скверно, Володя! Ну что бы ты сделал, ежели бы меня не встретил? – сказал строго, не глядя на брата, старший.

– Да я думал, братец, что получу эти подъемные в Севастополе, так отдам. Ведь можно так сделать; да и лучше уж завтра я с ним приеду.

Старший брат достал кошелек и с некоторым дрожанием пальцев достал оттуда две десятирублевые и одну трехрублевую бумажку.

– Вот мои деньги, – сказал он. – Сколько ты должен?

Сказав, что это были все его деньги, Козельцов говорил не совсем правду: у него было еще четыре золотых, зашитых на всякий случай в обшлага, но которые он дал себе слово ни за что не трогать.

Оказалось, что Козельцов-второй, с преферансом и сахаром, был должен только восемь рублей офицеру из П. Старший брат дал их ему, заметив только, что этак нельзя, когда денег нет, еще в преферанс играть.

– На что ж ты играл?

Младший брат не отвечал ни слова. Вопрос брата показался ему сомнением в его честности. Досада на самого себя, стыд в поступке, который мог подавать такие подозрения, и оскорбление от брата, которого он так любил, произвели в его впечатлительной натуре такое сильное, болезненное чувство, что он ничего не отвечал, чувствуя, что не в состоянии будет удержаться от слезливых звуков, которые подступали ему к горлу. Он взял не глядя деньги и пошел к товарищам.

8

Николаев, подкрепивший себя в Дуванкой двумя крышками водки, купленными у солдата, продававшего ее на мосту, подергивал вожжами, повозочка подпрыгивала по каменной, кое-где тенистой дороге, ведущей вдоль Бельбека к Севастополю, а братья, поталкиваясь нога об ногу, хотя всякую минуту думали друг о друге, упорно молчали.

«Зачем он меня оскорбил, – думал меньшой, – разве он не мог не говорить про это? Точно как будто он думал, что я вор; да и теперь, кажется, сердится, так что мы уже навсегда расстроились. А как бы славно нам было вдвоем в Севастополе! Два брата, дружные между собой, оба сражаются со врагом: один старый уже, хотя не очень образованный, но храбрый воин, и другой – молодой, но тоже молодец... Через неделю я бы всем доказал, что я уж не очень молоденький! Я и краснеть перестану, в лице будет мужество, да и усы – небольшие, но порядочные вырастут к тому времени, – и он ущипнул себя за пушок, показавшийся у краев рта. – Может быть, мы нынче приедем и сейчас же попадем в дело вместе с братом. А он должен быть упорный и очень храбрый – такой, что много не говорит, а делает лучше других. Я б желал знать, – продолжал он, – нарочно или нет он прижимает меня к самому краю повозки? Он, верно, чувствует, что мне неловко, и делает вид, что будто не замечает меня. Вот мы нынче приедем, – продолжал он рассуждать, прижимаясь к краю повозки и боясь пошевелиться, чтобы не дать заметить брату, что ему неловко, – и вдруг прямо на бастион: я с орудиями, а брат с ротой, – и вместе пойдем. Только вдруг французы бросятся на нас. Я – стрелять, стрелять: перебыю ужасно много; но они все-таки бегут прямо на меня. Уж стрелять нельзя, и – конечно, мне нет спасенья; только вдруг брат выбежит вперед с саблей, и я схвачу ружье, и мы вместе с солдатами побежим. Французы бросятся на брата. Я подбегу, убью одного француза, другого и спасаю брата. Меня ранят в одну руку, я схвачу ружье в другую и все-таки бегу; только брата убьют пулей подле меня. Я остановлюсь на минутку, посмотрю на него этак грустно, поднимусь и закричу: „За мной,

отмстим! Я любил брата больше всего на свете, – я скажу, – и потерял его. Отмстим, уничтожим врагов или все умрем тут!“ Все закричат, бросятся за мной. Тут все войско французское выйдет, – сам Пелиссье. Мы всех перебьем; но, наконец, меня ранят другой раз, третий раз, и я упаду при смерти. Тогда все прибегут ко мне. Горчаков придет и будет спрашивать, чего я хочу. Я скажу, что ничего не хочу, – только чтобы меня положили рядом с братом, что я хочу умереть с ним. Меня принесут и положат подле окровавленного трупа брата. Я приподнимусь и скажу только: „Да, вы не умели ценить двух человек, которые истинно любили отечество; теперь они оба пали... да простит вам бог!“ – и умру».

Кто знает, в какой мере сбудутся эти мечты!

– Что, ты был когда-нибудь в схватке? – спросил он вдруг у брата, совершенно забыв, что не хотел говорить с ним.

– Нет, ни разу, – отвечал старший, – у нас две тысячи человек из полка выбыло, всё на работах; и я ранен тоже на работе. Война совсем не так делается, как ты думаешь, Володя!

Слово «Володя» тронуло меньшого брата; ему захотелось объясниться с братом, который вовсе и не думал, что оскорбил Володю.

– Ты на меня не сердись, Миша? – сказал он после минутного молчания.

– За что?

– Нет – так. За то, что у нас было. Так, ничего.

– Нисколько, – отвечал старший, поворачиваясь к нему и похлопывая его по ноге.

– Так ты меня извини, Миша, ежели я тебя огорчил. И меньшой брат отвернулся, чтобы скрыть слезы, которые вдруг выступили у него из глаз.

9

– Неужели это уж Севастополь? – спросил меньшой брат, когда они поднялись на гору и перед ними открылись бухта с мачтами кораблей, море с неприятельским далеким флотом, белые приморские батареи, казармы, водопроводы, доки и строения города, и белые, лиловые облака дыма, беспрестанно поднимавшиеся по желтым горам, окружающим город, и стоявшие в синем небе, при розоватых лучах солнца, уже с блеском отражавшегося и спускавшегося к горизонту темного моря.

Володя без малейшего содрогания увидел это страшное место, про которое он так много думал; напротив, он с эстетическим наслаждением и героическим чувством самодовольства, что вот и он через полчаса будет там, смотрел на это действительно прелестно-оригинальное зрелище, и смотрел с сосредоточенным вниманием до самого того времени, пока они не приехали на Северную, в обоз полка брата, где должны были узнать наверное о месте расположения полка и батареи.

Офицер, заведовавший обозом, жил около так называемого *нового городка* – дощатых барачков, построенных матросскими семействами, в палатке, соединенной с довольно большим балаганом, заплетенным из зеленых дубовых веток, не успевших еще совершенно засохнуть.

Братья застали офицера перед складным столом, на котором стоял стакан холодного чая с папиросной золой и поднос с водкой и крошками сухой икры и хлеба, в одной желтовато-грязной рубашке, считающего на больших счетах огромную кипу ассигнаций. Но прежде чем говорить о личности офицера и его разговоре, необходимо попристальнее взглянуть на внутренность его балагана и знать хоть немного его образ жизни и занятия. Новый балаган был так велик, прочно заплетен и удобен, с столиками и лавочками, плетеными и из дерна, – как только строят для генералов или полковых командиров; бока и верх, чтобы лист не сыпался, были завешаны тремя коврами, хотя весьма уродливыми, но новыми и, верно, дорогими. На железной кровати, стоявшей под главным ковром с изображенной на нем амазонкой, лежало плюшевое ярко-красное одеяло, грязная прорванная кожаная подушка и енотовая шуба; на столе

стояло зеркало в серебряной раме, серебряная, ужасно грязная, щетка, изломанный, набитый маслеными волосами роговой гребень, серебряный подсвечник, бутылка ликера с золотым красным огромным ярлыком, золотые часы с изображением Петра I, два золотые перстня, коробочка с какими-то капсюлями, корка хлеба, и разбросанные старые карты, и пустые и полные бутылки портера под кроватью. Офицер этот заведовал обозом полка и продовольствием лошадей. С ним вместе жил его большой приятель – комиссионер, занимающийся тоже какими-то операциями. Он, в то время как вошли братья, спал в палатке; обозный же офицер делал счета казенных денег перед концом месяца. Наружность обозного офицера была очень красивая и воинственная: большой рост, большие усы, благородная плотность. Неприятна была в нем только какая-то потность и опухлость всего лица, скрывавшая почти маленькие серые глаза (как будто он весь был налит портером), и чрезвычайная нечистоплотность – от жидких масленых волос до больших босых ног в каких-то горностаевых туфлях.

– Денег-то, денег-то! – сказал Козельцов-первый, входя в балаган и с невольной жадностью устремляя глаза на кучу ассигнаций. – Хоть бы половину взаймы дали, Василий Михайлыч!

Обозный офицер, как будто пойманный на воровстве, весь покоробился, увидав гостя, и, собирая деньги, не поднимаясь, поклонился.

– Ох, коли бы мои были... Казенные, батюшка! А это кто с вами? – сказал он, упрятывая деньги в шкатулку, которая стояла около него, и прямо глядя на Володю.

– Это мой брат, из корпуса приехал. Да вот мы захвали узнать у вас, где полк стоит.

– Садитесь, господа, – сказал он, вставая и, не обращая внимания на гостей, уходя в палатку. – Выпить не хотите ли? Портерку, может быть? – сказал он оттуда.

– Не мешает, Василий Михайлыч!

Володя был поражен величием обозного офицера, его небрежною манерой и уважением, с которым обращался к нему брат.

«Должно быть, это очень хороший у них офицер, которого все почитают; верно, простой, очень храбрый и гостеприимный», – подумал он, скромно и робко садясь на диван.

– Так где же ваш полк стоит? – спросил через палатку старший брат.

– Что?

Он повторил вопрос.

– Нынче у меня Зейфер был: он рассказывал, что перешли вчера на пятый бастион.

– Наверное?

– Коли я говорю, стало быть верно; а впрочем, черт его знает! Он и соврать не дорого возьмет. Что ж, будете портер пить? – сказал обозный офицер все из палатки.

– А пожалуй, выпью, – сказал Козельцов.

– А вы выпьете, Осип Игнатьич? – продолжал голос в палатке, верно, обращаясь к спавшему комиссионеру. – Полноте спать: уж осьмой час.

– Что вы пристаёте ко мне! я не сплю, – отвечал ленивый тоненький голосок, приятно картавя на буквах *л* и *р*.

– Ну, вставляйте: мне без вас скучно.

И обозный офицер вышел к гостям.

– Дай портеру. Симферопольского! – крикнул он.

Денщик с гордым выражением лица, как показалось Володе, вошел в балаган и из-под него, даже толкнув офицера, достал портер.

– Да, батюшка, – сказал обозный офицер, наливая стаканы, – нынче новый полковой командир у нас. Денежки нужны, всем обзаводится.

– Ну этот, я думаю, совсем особенный, новое поколение, – сказал Козельцов, учтиво взяв стакан в руку.

– Да, новое поколение! Такой же скряга будет. Как батальоном командовал, так как кричал, а теперь другое поет. Нельзя, батюшка.

– Это так.

Меньшой брат ничего не понимал, что они говорят, но ему смутно казалось, что брат говорит не то, что думает, но как будто потому только, что пьет портер этого офицера.

Бутылка портера уже была выпита, и разговор продолжался уже довольно долго в том же роде, когда полы палатки распахнулись и из нее выступил невысокий свежий мужчина в синем атласном халате с кисточками, в фуражке с красным околышем и кокардой. Он вышел, поправляя свои черные усы, и, глядя куда-то на ковер, едва заметным движением плеча ответил на поклоны офицеров.

– Дай-ка и я выпью стаканчик! – сказал он, садясь подле стола. – Что это, вы из Петербурга едете, молодой человек? – сказал он, ласково обращаясь к Володе.

– Да-с, в Севастополь еду.

– Сами просились?

– Да-с.

– И что вам за охота, господа, я не понимаю! – продолжал комиссионер. – Я бы теперь, кажется, пешком готов был уйти, ежели бы пустили, в Петербург. Опостыла, ей-богу, эта собачья жизнь!

– Чем же тут плохо вам? – сказал старший Козельцов, обращаясь к нему. – Еще вам бы не жизнь здесь!

Комиссионер посмотрел на него и отвернулся.

– Эта опасность («про какую он говорит опасность, сидя на Северной», – подумал Козельцов), лишения, ничего достать нельзя, – продолжал он, обращаясь все к Володе. – И что вам за охота, я решительно вас не понимаю, господа! Хоть бы выгоды какие-нибудь были, а то так. Ну, хорошо ли это, в ваши лета вдруг останетесь калекой на всю жизнь?

– Кому нужны доходы, а кто из чести служит! – с досадой в голосе опять вмешался Козельцов-старший.

– Что за честь, когда нечего есть! – презрительно смеясь, сказал комиссионер, обращаясь к обозному офицеру, который тоже засмеялся при этом. – Заведи-ка из «Лучии», мы послушаем, – сказал он, указывая на коробочку с музыкой, – я люблю ее...

– Что, он хороший человек, этот Василий Михайлыч? – спросил Володя у брата, когда они уже в сумерки вышли из балагана и поехали дальше к Севастополю.

– Ничего, только скупая шельма такая, что ужас! Ведь он малым числом имеет триста рублей в месяц! А живет, как свинья, ведь ты видел. А комиссионера этого я видеть не могу, я его побью когда-нибудь. Ведь эта каналья из Турции тысяч двенадцать вывез... – И Козельцов стал распространяться о лихоимстве, немножко (сказать по правде) с той особенной злобой человека, который осуждает не за то, что лихоимство – зло, а за то, что ему досадно, что есть люди, которые пользуются им.

10

Володя не то чтоб был не в духе, когда уже почти ночью подъезжал к большому мосту через бухту, но он ощущал какую-то тяжесть на сердце. Все, что он видел и слышал, было так мало сообразно с его прошедшими недавними впечатлениями: паркетная светлая большая зала экзамена, веселые, добрые голоса и смех товарищей, новый мундир, любимый царь, которого он семь лет привык видеть и который, прощаясь с ними со слезами, называл их детьми своими, – и так мало все, что он видел, похоже на его прекрасные, радужные, великодушные мечты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.